

Биографии,
автобиографии,
мемуары

Тамара
ПЕТКЕВИЧ
Жизнь —
сапожок непарный

Книга вторая
НА ФОНЕ ЗВЁЗД И СТРАХА

Биографии, автобиографии, мемуары

Тамара Петкевич

**Жизнь – сапожок непарный. Книга
вторая. На фоне звёзд и страха**

«Азбука-Аттикус»

2008

УДК 84-94
ББК 84(2Рос-Рус)6

Петкевич Т. В.

Жизнь – сапожок непарный. Книга вторая. На фоне звёзд и страха
/ Т. В. Петкевич — «Азбука-Аттикус», 2008 — (Биографии,
автобиографии, мемуары)

ISBN 978-5-389-22938-9

Вторая часть воспоминаний Тамары Петкевич «Жизнь – сапожок непарный» вышла под заголовком «На фоне звёзд и страха» и стала продолжением первой книги. Повествование охватывает годы после освобождения из лагеря. Всё, что осталось недоговорено: недописанные судьбы, незаконченные портреты, оборванные нити человеческих отношений, – получило своё завершение. Желанная свобода, которая грезилась в лагерном бараке, вернула право на нормальное существование и стала началом новой жизни, но не избавила ни от страшных призраков прошлого, ни от боли из-за невозможности вернуть то, что навсегда было отнято неволей. Книга увидела свет в 2008 году, спустя пятнадцать лет после публикации первой части, и выдержала ряд переизданий, была переведена на немецкий язык. По мотивам книги в Санкт-Петербурге был поставлен спектакль, Тамара Петкевич стала лауреатом нескольких литературных премий: «Крутая лестница», «Петрополь», премии Гоголя. Прочитав книгу, Татьяна Гердт сказала: «Я человек очень счастливый, мне Господь посылал всё время замечательных людей. Но потрясений человеческих у меня было в жизни два: Твардовский и Тамара Петкевич. Это не лагерная литература. Это литература русская. Это то, что даёт силы жить». В формате PDF А4 сохранён издательский дизайн.

УДК 84-94
ББК 84(2Рос-Рус)6

ISBN 978-5-389-22938-9

© Петкевич Т. В., 2008
© Азбука-Аттикус, 2008

Содержание

Глава первая	7
Глава вторая	22
Конец ознакомительного фрагмента.	40

Тамара Петкевич
Жизнь – сапожок непарный. Книга
вторая. На фоне звёзд и страха

© Т. В. Петкевич (наследники), 2023

© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2023

Издательство Колибри®

Глава первая

То, что в первой книге условно названо «другой жизнью», берёт начало в раннем июльском утре 1952 года.

Улицу и дом в Москве я отыскала сразу. Чуть опамятовалась только перед дверью квартиры: «Я ли это? Что происходит? По какому праву я собираюсь нажать кнопку звонка чужого дома? Что скажу, оказавшись лицом к лицу с матерью человека, отношения с которым отягощены столькими сложностями?»

Дверь открыла мать Бориса. Заметно удивилась. Провела в комнату. А там, как показалось воспалённому сознанию, было полно людей... Гости? Сквозь пресс глухоты услышала голос Александры Фёдоровны:

– Знакомьтесь. Это мой старший сын Костя. Его жена Лида.

И в следующую же секунду – что-то напоминающее удар:

– Костя! Лида! А это... Это Борюнькина невеста.

«Ничья я не невеста! Я свободный человек! Совершенно свободный!» – хотела я выкрикнуть, поправить... Пребывая в ином измерении, я ещё не осознавала действительности, в которой очутилась. Но то, что на меня, «свободную», накинули лассо, ощутила с пронзительной силой. И всё стало обретать черты трезвой и обескураживающей реальности.

Мать Бориса занимала шестнадцатиметровую комнату в коммунальной квартире. Пианино, письменный и обеденный столы, диван, кушетка, висевшие на стенах книжные полки делали комнату донельзя тесной. «Старшие дети», уволившись из театра в Сибири, приехали к матери за несколько дней до моего вторжения в этот дом. Жена старшего сына, Лида, обладала прекрасным меццо. В Москву их привёл объявленный Большим театром конкурс на вакансию солистки оперной труппы.

Осознав, какой головоломной задачей может обернуться для семьи моё появление, я стала заверять Александру Фёдоровну, что разыщу в Москве кого-нибудь из северных знакомых и ночлег – найду. Ни одного подстраховывающего адреса у меня не было. Уйди я ночевать на любой из вокзалов, вписанный в паспорт административный 39-й пункт гарантировал, что первый же рейд милиционеров отправит меня стольпинским вагоном куда дальше Микуни. При этом я уже отчётливо понимала, что единственно правильное действие – встать и уйти. Куда? Об этом надо было думать раньше.

Как надписанный заключённым сыном багаж, я была адресована Александре Фёдоровне. Она меня – не отпустила. И теперь я послушно впитывала каждое произнесённое ею слово:

– При желании площадь умеет увеличиваться. Разместимся все. У соседки пустует кровать. Я там желанная гостья.

Я знала мать Бориса по её северным приездам на свидания к сыну. В облике статной, высокой женщины было непререкаемое великолепие. Она напоминала статуи греческих богинь. Когда я в Микуни услышала в её исполнении «Песнь про купца Калашникова» Лермонтова, была покорена её талантом чтицы. В письмах из зоны Борис постоянно повторял: «Мы с Ма одинаково думаем... Ради меня Ма сделает всё... Припечёт – она меня и с того света вызовет». Я слушала это, как сагу о единстве матери и сына, и – верила.

Собственные наши с ней отношения не заладились сразу. Знакомя нас, Борис сказал: «Ма! Я люблю Зорьку». Она глянула на меня острым, выверяющим взглядом и отвела в сторону непотеплевшие глаза. «Борина мать прозорлива», – подумала я тогда. Видно, и она запомнила ту минуту, поскольку вскоре сочла нужным пояснить:

– Знаешь, Томочка, я при первой встрече испугалась тебя. Увидела, что мой сын любит тебя, а ты – ты отвлечена чем-то своим.

«Зачем же вы так лихо переименовали меня в „невесту“ сына?» – хотела я её спросить. Это не было попыткой сгладить острый угол моего появления ради старших детей, как подумалось поначалу. Нет. Такова была твёрдость её материнских условий. Я же ни о каком замужестве не помышляла вообще. Два полюса: «Борюнькина невеста» и «При желании площадь умеет увеличиваться» – сделали наши отношения с Александрой Фёдоровной «сложноподчинёнными». С надеждой выправить их скособоченность, я вслушивалась не только в текст, но и в интонацию каждого обращённого ко мне слова, увязая в двусмысленности своего положения. Двусмысленность усугублялась ещё и тем, что она не попросила меня объяснить слова Бориса: «Томке сейчас *худо*», а сама я *плохо* представляла, что *смогла бы* сочинить при строгом наказе Бориса не посвящать её в историю моей вербовки.

По приезде в Москву я сразу написала заявление в Микунь об увольнении и отослала его в письме к наиболее верной сослуживице. Необходимо было вызволить из отдела кадров трудовую книжку и получить положенную мне зарплату, чтобы поскорее куда-то уехать, устроиться на работу, освободить от себя семью Бориса. Пока же Александра Фёдоровна ежедневно давала мне задания: закупить краски, кисти, провизию для Бориса, упаковать всё это, съездить за город отправить письма, посылки (в Москве на лагерные адреса их не принимали). Что-то надо было купить и в дом.

Старший брат Бориса, актёр драматического театра, великолепно разбирался в живописи, литературе, не говоря о театре. Подкупил, высказав однажды догадку:

– По-моему, тебе страсть как хочется пойти в Третьяковку и попросить меня быть твоим гидом.

О Третьяковке я мечтала действительно «страсть как» ещё с долагерных времён. Не задавая неловких вопросов – «Как?.. Впервые в этом храме искусств?.. И этой библейской истории не знаешь?», – Константин погружал меня в сюжеты знаменитых картин, рассказывал о художниках.

Чуть позже Лида доверительно рассказала, что они с Костей встретились в Польше в 1944 году, когда его привезли раненым с фронта в медсанбат, где она работала медсестрой. Благодарность. Увлечение. Любовь. Но Костя сразу её предупредил: «На меня не рассчитывай. У меня семья. Я семью не брошу». После войны, однако, с женой развёлся, оставил ей и дочери московскую квартиру, и они с Лидой уехали на периферию. Проработав в сибирском театре несколько лет, решили вернуться и обосноваться в Москве. Конкурс в Большой театр был ставкой «на жизнь». От его результатов зависело всё: работа по профессии, московская прописка, получение жилплощади.

Слушая, как Лида разучивает арию Любаши из «Царской невесты» («Вот до чего я дожила, Гри-го-о-рий...»), арию Далилы и другие, как концертмейстер после каждого урока восхищённо ободряет её: «Большому кораблю – большое плаванье», – я не сомневалась в её победе. Ожидание конкурса определяло климат дома. Семья жила в нервном, деятельном напряжении.

За обеденный стол в доме Александры Фёдоровны усаживались, когда все были в сборе. Горячо обсуждались имена членов жюри на предстоящем конкурсе, количество конкурсантов, репертуар Большого театра. Дружно смеялись шуткам Константина. И когда объектом подсмешиваний становилась я, то от неловкости положения в семье сама смеялась, помнится, усерднее прочих. Соседка по квартире отложила мне в пергаментную бумагу порцию крема для лица. Соблазн косметики был велик. Я терпеливо дождалась, когда Константин и Лида уснут, чтобы за своей ширмой с превеликой осторожностью развернуть громко шуршавший в тишине пергамент. И назавтра, при полном семейном сборе, Константин с бесовским огоньком в глазах обратился ко мне:

– Скажи, дорогуша, а как называются конфеты, которые ты жрёшь по ночам?

От постыдного подозрения у меня, как у шестнадцатилетней, перехватило дыхание, но тридцатидвухлетняя во мне вовремя спохватилась («спасение в юморе») и присоединилась к общему веселью.

Во мне насмерть сражались между собой два безоговорочных чувства: чувство абсолютной правоты совершённого побега и чувство стыда за его непродуманность. Не только возраст, но и вся выучка жизни оказались в этой ситуации не в счёт. Я была похожа на человека, который в диком запале перепрыгнул через улицу, перемахнул с одной крыши на другую, но не знает, как спуститься вниз. Я незамедлительно должна была определить, в какую точку Союза ехать устраиваться на работу. К этому главному разговору – о выборе профессии и места работы – к нам с Александрой Фёдоровной подключился старший брат Бориса.

– Может, медсестрой? Статистиком? Лаборанткой? – перечисляли они мои прежние занятия.

– Нет. Нет.

– Может, окончить педагогические курсы в каком-нибудь провинциальном городе?

– Работать в школе, с детьми? Не разрешат.

Члены семьи наблюдали за мной. Как человеку, оказавшемуся на реке во время ледохода, мне надо было сноровисто выгребать к берегу. Не хватало проворства. Недоставало обоюдной доверительности. Покинув Север, я не ориентировалась ни в чём.

Сама я прекрасно знала, кем хочу быть. Заветной мечтой был – ТЕАТР.

Лагерь грубо врбал в сознание, что работать там, куда тебя поставили – землекопом, тральщиком, укладчиком шпал или грузчиком, – неотвратимость. Мы все подчинялись приказу. Но «шучье веленье» начальства, насильственно направившего меня по наряду в лагерьный театр, сверсталось с затаённой потребностью юности: «быть полезной человечеству». Мой первый выход к публике состоялся на шербатых подмостках лагерного клуба. Улавливая при свете керосиновых ламп очертания лиц людей, сражённая замиранием «зала», я пропитывалась жаждой собравшихся зэков услышать мелодию, слово, увидеть спектакль. Желание совместно перечувствовать что-то личное, «вольное» преображало и заключённых, и артистов. Возникшее между нами и зрителями в зонах созвучия доставляло ни с чем не сравнимую отраду. Ощущение нужности, приток сил, нисходивших на нас «не от мира сего», кружили голову и наполняли душу смыслом. В стремлении служить театру было и наследие Александра Осиповича Гавронского, Коли, атмосферы незабываемого ТЭКа (театрально-эстрадного коллектива). Театр, надо сказать, вообще виделся мне способом существования. Только ему, театру, было под силу согласовывать и стягивать в узел такие полярные состояния, как кошмар и счастье, безобразия и красота, ненависть и любовь.

Однако здесь, в этой артистической семье, заводить разговор о профессии актрисы мне не разрешали и обстоятельства, и неуверенность в себе. Стены московской комнаты были увешаны афишами с тчепскими программами Александры Фёдоровны, названиями спектаклей, в которых играл Костя, и опер, где пела Лида. Разве не заносчивостью, не дерзостью было бы здесь заикнуться о театре, когда решался вопрос о куске хлеба и крыше над головой?

В завершение разговора о моих реальных «перспективах» Константин вдруг небрежно бросил:

– Жаль, мы тебя на сцене не видели. Кабы в театр, я бы тебя запросто устроил. Давай попробуем?! А что?

В растерянности я смогла только дипломатично возразить: «Ну что ты», стала ссылаться на свой малый сценический опыт. В итоге, однако, всё свелось к театру. Как выяснилось, попытки поступить в какой-нибудь периферийный театр были возможны только через биржу. Само словечко «биржа» в пятидесятые годы при социалистической системе хозяйствования казалось вытасненным из сундука старой лексики. На мой вопрос: «А что это, собственно, значит – биржа?» – Константин отозвался необычайно живо:

– Биржа? А это, знаешь ли, базар. Такой симпатичный, немногочисленный базарчик. Сначала там посмотрят на твою мордашу, на то, как по земле ступаешь, заглянут, как лошадке, в рот, как, мол, там обстоят дела с зубами, перемолвятся с тобой одним-другим словцом. Ну а потом так, знаешь ли, расшаркаются и скажут: «Сделайте одолжение, осчастливьте наш город. Приглашаем вас...» Устраивает? – с издёвкой над биржевой процедурой пояснил он.

В этом лучшем из вариантов был один убийственный момент. На биржу, по утверждению Константина, режиссёры и актёры съезжались в Москву в конце августа – начале сентября. Заканчивался же только июль. А я и так оставалась в доме Бориса непозволительно долго. Ни документов, ни зарплаты мне из Микуни не присылали. Сослуживцы молчали. Писал один Борис.

Хоть и не сбылось его предсказание насчёт того, что, встретившись в Москве, мы с его Ма «узнаем и полюбим» друг друга, Борис всё равно строчил счастливые письма. С фотографии, которую он прислал, в упор смотрели пугающие своей преданностью мальчишечьи глаза. Он смелел:

Томка!

Начни же наш дерзкий, красивый счёт!
Стань разведчицей счастья нашего!
Мудрено загадать, где стоит наш дом,
У каких плотин, за каким хребтом.
Может, это палатка геолога,
Дом культуры в садах над Волгою.
Может...
В общем, примчу на уральский завод,
В театр Камчатки иль в степи хакасские,
Хоть пешком, хоть бегом в край любой, где живут
Томка, мамка, стихи и краски!..

Поймав себя на раз-два мелькнувшей мысли: «Выйду, пожалуй, за Бориса замуж; семья умная, жизнь будет интересная», – я внутренне заметалась и отчаялась ещё больше. Всё контролировала потребность быть в согласии с собой. А выручало то, что полтора года, остававшиеся до освобождения Бориса, разрешали этому соображению оставаться чисто теоретическим.

При внешнем дружелюбии в доме Александры Фёдоровны существовало непонятное нелюбопытство к тому, что касалось меня. Никто меня не спрашивал ни о лагерных годах, ни как я жила до них. Ни о том хотя бы, что думаю. Я оставалась в роли некой безродной подопечной. Без биографии, без прошлого. Семья выполняла просьбу Бориса – вот и всё. О нём меня, кстати, тоже не спрашивали.

Ничем своим не делилась и Александра Фёдоровна. Только однажды, перебирая семейные фотографии, она предложила: «Хочешь посмотреть?» На одном из снимков она стояла на коленях, собирая какие-то бумаги. Похоже, тот, кто фотографировал, внезапно попросил её глянуть в объектив. Поднятые вверх глаза, взгляд – снизу и врасплох. Казалось, будто она что-то вымаливает у Неба.

– Может, и вымаливала, – бросила она, – только всё равно с пустыми руками осталась. У меня тогда был роман с одним умным и очень близким мне человеком. К сожалению, нам пришлось расстаться. Впрочем, моё призвание – материнство.

– Призвание?

– Да! Призвание! Почему ты переспрашиваешь?

Меня она вскользь как-то спросила:

– У тебя ведь тоже, кажется, есть сын?

– Есть! – встrepенулась я: сейчас случится разговор, который так необходим, чтобы ощущать себя реальным, а не условным человеком. Но следующий вопрос задан не был.

В какой муке я нащупывала брод в абсурде тюрьмы и лагерей! Чтобы как-то вернуться в свободу, расшибалась о то же бездорожье, отыскивая брод и сейчас.

Нестерпимо мучило, что стесняю семью Бориса. Не находила я объяснения и угрюмому молчанию знакомых из Микуни. В самом буквальном смысле этого слова, я нигде не находила себе места.

– Завтра идём с тобой к моей приятельнице, актрисе МХАТа Халютиной. Она мастер высокого класса. Когда-то играла Тильтия в «Синей птице» Метерлинка, – сказала Александра Фёдоровна. – Надо, чтобы ты посмотрела как можно больше спектаклей этого театра.

Один-единственный раз, ещё до войны, я видела спектакль МХАТа «Анна Каренина», когда театр приезжал на гастроли в Ленинград.

Софья Васильевна Халютина жила в Леонтьевском переулке, в доме, где обитали актёры этого прославленного театра. Угостив нас обедом, она сказала, что как раз сегодня идёт на «Синюю птицу», и, если я хочу увидеть спектакль, она меня приглашает. Мы заспешили. И всё-таки вошли в театр, когда уже отзвенел третий звонок. Увидев запыхавшуюся актрису, билетёрша быстрыми шажками подбежала к ней, указала на боковую дверь партера и заговорщически зашептала: «Сюда, сюда. Я пропущу вас здесь». Но, оскорблённая кощунственной готовностью билетёрши нарушить ради неё священный устав театра – никого после начала спектакля в партер не впускать, – Софья Васильевна возмутилась, гневно отрезала: «Что вы, что вы, как можно?» – и повела меня наверх, в один из ярусов, откуда мы и посмотрели первый акт.

Завораживающее впечатление от спектакля, трепет старой актрисы перед таинством Театра, её верность незыблемым правилам взволновали меня сверх меры. «Значит, мир в своих высоких образцах жив? Уцелел? Неужели?» – бушевало в душе. И прошлые представления о норме готовы были рвануться на свои столь долго пустовавшие места.

* * *

Идея найти у кого-то угол, чтобы дожидаться открытия биржи, заставила меня попытаться отыскать через адресный стол родственников северных знакомых. Вопреки иллюзии о сохраняющихся в свободном мире безусловных нормах и ценностях, которая возникла после посещения МХАТа, московские впечатления часто приводили в смятение. Некоторые и вовсе ужасали.

С Валею Л. мы вместе работали в ТЭКе. Получив на руки адрес её матери, я направилась к ней, чтобы разузнать о Вале и её дочери. Валина девочка, одноклассница моего сына, родилась, как и он, в Межогге. Когда вышло распоряжение лагерного начальства – детей старше годика вывезти из зон и разместить по детским домам Коми АССР, – я, под клятвенное обещание Филиппа вернуть мне сына после освобождения, отдала ребёнка ему. Валина дочка, занесённая в списки детского этапа, поступила под опеку государства.

Дверь мне неожиданно открыла сама Валя. Поскольку у неё была бытовая статья (не то растрата, не то халатность), запрет жить после освобождения в столице на неё не распространялся. Не догадываясь, какую боль приносят такого рода встречи, мы обрадовались друг другу. Валя рассказала, как на следующий же день после освобождения отправилась разыскивать дочь и как, объехав с десятков разбросанных по республике детских домов, в конце концов нашла её.

«Вопиёт к Небу» – это о её дочке Инне. Девочка была убийственным свидетельством того, как в государственных казённых домах губили жизнь детей. Их там не только не воспитывали, но содержали вообще без присмотра. В речи Валиной девочки присутствовали одни

согласные. Она умудрялась сотворять их даже из гласных. И каждый из трёх-четырёх звуков стартовал как первый. Только Валя могла разобраться в том, о чём пыхтела в попытке что-то выговорить её дочка. Слепая доверчивость и доброта сменялись приступами ярости. Инна могла внезапно накинуться на мать, на бабушку, а то и на ребёнка, с которым играла во дворе. Ела руками. Могла вдруг завывать – будто в детдоме детей водили в лес обучать волчьим призывам. Оторопь брала от Валиных рассказов.

Беда, настигшая Валиного ребёнка, миновала моё дитя. Но моего мальчика украли. Прятали его. Прятались сами. И сколько мне понадобится времени, чтобы найти сына, я не ведала. Побывав в доме Вали, не посмела, не посмею и сейчас сравнить один вид Зла с другим. *Вид* разный, *род* – один!

Однажды меня пронзила такой силы физическая боль, что, продлившись она ещё мгновение, я бы не вынесла её. Ужалив, она отошла, но оставила пожизненное знание о своей смертоносной мощи. Погружение в прошлое при нашей встрече дохнуло на нас с Валею похожей жутью, давая понять, что беда эта растянется во времени, не уймётся, а пойдёт только в рост.

Валя свою девочку от людей не прятала. Верила, что вызволит дочь из тьмы. И что-то ей впоследствии удалось. Девочка, однако, дотянула до тринадцати лет и умерла.

В ещё большую растерянность меня поверг следующий московский визит. В ТЭЖе был удивительно приятный актёр, наш с Колюшкой друг – Володя Мурзин. Раньше он к театру отношения не имел. До ареста учился в московской школе разведчиков. Загодя стал просить: «Если, часом, после освобождения окажетесь в Москве, навестите мою мать. Ни на одно моё письмо она не ответила и не отвечает». Сколько надежд возлагалось на тех, кого заключённые назначали послами в свои семьи, поручая рассказать о себе!

Володина мать с порога встретила меня не только насторожённо, но и откровенно враждебно:

– Кто вы? Чего хотите? Что вам надо?

– Я друг вашего сына Володи. Мы с ним вместе работали в лагерном театре. Я давно освободилась, но только сейчас оказалась в Москве. Володя просил, чтобы я зашла к вам и рассказала о нём. У вас очень славный сын...

– Изменник Родины мой сын – вот кто он, – сразила меня с ходу старая крестьянка. – Осрамил меня перед всем миром. Перед соседями осрамил. Перед родственниками. Вон мотоцикл его тут висел в коридоре – попросила вынести в сарай, чтоб глаза мои не мозолил. Не хочу его знать.

Я пыталась сказать, что не всякому клейму стоит верить, что в лагере сидело и сидит много ни в чем не повинных людей.

– А почему это я должна вам верить? Сталину-то я уж всяко верю больше, чем вам. Разве он станет безвинных сажать? – стояла на своём хозяйка дома.

Кто-то, видимо, внушил старой женщине: «Будь осторожна, к тебе специально могут подослать человека, чтобы выведать, как сама про власть думаешь». Она вошла в раж. Продолжала хулить сына и восхвалять вождя. Недобрые, бездарные слёзы лились у неё по щекам...

Не сумев прорваться сквозь поток этой мути, так ничего толком и не рассказав о Володе, я ушла от неё обескураженная, с чувством вины перед своим товарищем, ожидавшим материнской поддержки. Гнёт этой вины снял с души лет через двенадцать уже сам Володя. При встрече посетовал на то, как безнадёжно и навсегда заблудилась в дебрях общественной лжи его не шибко грамотная мать, как до смерти оставалась напуганной, осложняя им с женой жизнь.

Однажды на Центральном телеграфе «Москва-9», стоя за письмами до востребования, я услышала громкий возглас, который ни по смыслу, ни по заряду радости относиться ко мне не мог:

– Ба-а! Председатель колхоза!

Старшему надзирателю с колонны Межог, засадившему меня когда-то в карцер за найденный в бараке топор, сейчас было сподручнее окликнуть меня так, а не по фамилии, как на поверке в зоне. Председательницу колхоза я играла в ТЭЖе в пьесе Фёдорова «Пути-дороги».

– Как живёте-можете? – широко улыбаясь, вопрошал недавний страж.

«Что значит эта безудержная радость?» – поразила я. Не стеречь себе подобного, а открыто, да ещё в Москве, признать бывшую заключённую? И быть в свою очередь признанным ею? Значит, всё зависит от того, как социальная жизнь расставляет людей относительно друг друга? Кроме него, кстати, мало кто изъявлял желание разузнать, как и что у меня сейчас, где живу, где и кем работаю. Парадокс!

Из всех московских семей моих знакомых по Северу самой не повреждённой событиями тех лет оказалась семья сестёр Миры Гальперн (по мужу Линкевич). Нас многое связывало с Мирой в лагере. Память особенно дорожит одним эпизодом. Рассказывая о чём-то, Мира спросила:

– Помнишь «Болеро» Равеля?

– Нет.

– Шутишь?

– Не шучу. Просто не знаю.

И она «рассказала» мне «Болеро».

Года через полтора, объезжая с ТЭЖом северную часть лагеря, мы, миновав тайгу, заехали в тундру. Рано утром я вышла на крыльцо барака, в котором нас разместили на ночёвку. Ссыпанная в кучи угольная крошка возле порога. Безлесье. Редкий, низкорослый кустарник. Зона, опутанная проволокой. Свинцовое небо... Всё порождало уныние, ощущение бесприютности бытия. Но из чёрного конуса репродуктора, закреплённого на столбе возле зоны, лилась музыка. И я – дрогнула. Прежде чем назвать её ворожкой, всем своим существом я узнала: это «Болеро» Равеля!

Так я и простояла, не шевелясь, на ветру, пока не «досмотрела», как неспешной, ритуальной поступью двигался по пустыне караван великолепных верблюдов, пока не пропиталась красноватым закатом над сыпучими песками. Расслышала, как незаметно внутри музыки стала зарождаться зыбкая, тревожная параллель главной теме. Цель, к которой направлялся караван, становилась всё более призрачной, где-то раздваивалась. Вовлекая в себя барханы, бескрайность, движения и чувства тех, кто вёл караван, всё это стало перетекать в единый круговорот действительного и вечного... Безудержно лились слёзы. И сколько бы я потом ни слушала «Болеро», оно оставалось – подарком Миры.

После освобождения Миры и её муж Алексей подверглись повторному аресту и получили пожизненную ссылку. В момент, когда я в 1952 году оказалась в Москве, они находились в ссылке в Сибири порознь: она в Новосибирском крае, он в Красноярском.

По рассказам Миры я знала, что её сёстры живут в Москве. По письмам Миры сёстры знали обо мне. Теперь мы познакомились. В пространстве любой из комнат квартиры сестёр можно было затонуть. Старинная мебель, дорогая посуда придавали этой обители добротность и неизбежность. Само знакомство с сёстрами Миры получилось умиротворительно милым. Муж средней сестры был дантист. На дверях их квартиры красовалась до блеска начищенная медная табличка с его фамилией. Едва мы расположились для беседы, как в комнату вошёл сам врач, только что проводивший посетительницу.

– В чём дело, Рая? Что случилось? – не без возмущения обратился он к жене. – Тебе что, стал изменять такт? Почему ты так нелюбезно обошлась с моей пациенткой?

– Нелюбезно, видите ли... нелюбезно? – передразнила Рая мужа. – А я что, целоваться с ней должна?

На самом деле Раиса Израилевна выглядела смешавшейся и виноватой. Сдаваться, однако, не хотела и сдобрила финал искромётным юмором:

– Нелюбезно! Да она такая молодая, что мне вообще хотелось дать ей по морде!

Юмор и афористичность речи были присущи всей семье. Стоило старшей, Анне, услышать о чём-то неординарном, как она вскидывала вверх руки и восклицала: «Х-ха! Пробыло тринадцать!»

– Знаете, у нас в детстве была няня, заодно и кухарка, – посвящала она меня в уютную историю семьи. – К вечеру она уставала до чёртиков. Помолится, бывало, на ночь, идёт к постельке, потирает одну руку о другую, смеётся и шепчет: «В гнёздышко! В гнёздышко своё сейчас заберусь».

Младшая сестра, Мира, говорливая, образованная, напичканная стихами и байками, окончила московский Институт иностранных языков, работала переводчицей. Вышла замуж за немца. Ей было двадцать восемь лет, когда их с мужем арестовали и приговорили к десяти годам лагерей. Муж в заключении погиб. С Алексеем она встретила уже лет через пять в лагерном театре кукол, организованном Тamarой Цулукидзе. Надо было видеть, как в боязни, что их могут разлучить, они проживали каждый божий день, вцепившись друг в друга. Страх перед насильственной разлукой превратился у обоих в настоящий недуг.

Все десять лет сёстры посылали ей в лагерь посылки. Они любили и жалели младшую сестру.

– Знаешь, – рассказывала мне ещё в зоне Мира, – приехала ко мне сестра Аннушка на свидание и говорит: «Вот взмахну сейчас волшебной палочкой, всё вернётся на свои места, и ты будешь жить, как прежде». Я подумала и ответила: не хо-чу! Так я хоть что-то познала, а то продолжала бы жить с закрытыми глазами.

– А вы, Алёша? – любопытствуя, спросила я присутствовавшего при этом разговоре Алексея.

– И я так же, – не раздумывая ответил он. – Ну, продвигался бы я на воле дальше по партийной линии и стал бы идиотом. Вот и всё.

Члены этой семьи, где в ходу были приправы из острот и лиризма, однако, горько сокрушались по поводу того, что лагерь изменил Миру до неузнаваемости.

– Ну, сами посудите! – с горечью и обидой рассказывала одна из сестёр. – Мира с Алексеем приехали сразу, как их освободили. Представляете, сколько собралось родственников, друзей? Поужинали. Ещё и расходиться было рано, как Мира вдруг во всеуслышанье обращается к Алексею и спрашивает: «Алёша, ты сходил в туалет? Покакал на ночь? Я устала, иду спать». Можете себе такое представить? Мира! Наша интеллигентная Мира! Ну что это за стиль?

Уязвивший сестёр «прокол» Миры можно и нужно было истолковать иначе. Могла же она, отсидев десять лет, тоже захотеть «дать по морде» беспечному, мало в чём изменившемуся за годы её отсутствия образу существования родственников? Слишком разного разлива и содержания жизнь досталась ей и её родным в одно и то же историческое время.

В доме у сестёр Миры, кстати, как и в доме Александры Фёдоровны, ни меня, ни приехавшую на несколько дней в Москву с Украины Хеллу не расспрашивали о нашем лагерном прошлом. Поначалу я такое целомудренное нелюбопытство отнесла к стародавней заповеди: «В доме повешенного не говорят о верёвке». Однако дело было не только в этом. Верёвка, накинутая одним концом на арестованного члена семьи, а другим – на полезного, привеченного властью родственника, при грамотной манипуляции вынуждала проявлять особую осторожность в общении. Для пятидесятых годов актуальнее расспросов и ответов был – молчок.

Однажды старший брат Миры – крупный физик, трижды лауреат Сталинских премий, совершенно очаровательный человек – спросил у нас с Хеллой:

– Неужели там только и было что холод и голод?

– Нет, конечно, – отозвались мы хором, – хватало и острословия, и шуток.

Для убедительности мы рассказали несколько курьёзов, пару анекдотов. Украсили это смехом. И пожалуй, то был единственный случай, когда из общения испарились насторожённость и напряжение. Наш собеседник восхищённо воскликнул:

– Да знаете ли вы, что на вас надо продавать билеты?

Я шепнула своей чешской подруге:

– А что? Кажется, мы легализовались в жанре буффонады. Пора шить колпаки...

Как же недостижимо далеки были наши родные от реального представления о лагерях, деформировавших не только «стиль», но и химический состав души!

Истрадавшиеся от постоянного «врозь» в зоне, а затем и в ссылке, после освобождения Мира с Алексеем и часа не обходились друг без друга ни в работе, ни на отдыхе. Первым умер Алёша. Затем дочь Дина. Через много лет с приехавшей в Петербург Кирой Ефимовной Теве-ровской мы навестили Миру в Доме ветеранов сцены, где она нашла свой последний приют. У неё там была просторная, обставленная домашней мебелью комната. Я сидела у окна, выходящего в тенистый сад на Петровском острове, Кира – у постели Миры.

– Мне не нужно утро. Незачем просыпаться без Алёши, – вяло говорила Кире бывшая тараторка Мира. Она вроде бы и не болела. Просто взяла и *ушла*, раз умер её Алексей.

Жизнь каждого отдельного человека отстраивала своё мировоззрение, свою позицию. Осип Мандельштам оставил убийственно точный рецепт:

Не говори никому,
Всё, что ты видел, забудь —
Птицу, старуху, тюрьму
Или ещё что-нибудь...

Не всем, однако, давалось умение забыть былое.

* * *

Лида по конкурсу в Большой театр не прошла. Я разделяла мнение тех, кто считал это несправедливым. Для старших детей наступили чёрные дни. Уныние и раздражительность коренным образом изменили атмосферу в доме. Старший брат Бориса и до этого не забывал несколько раз в день выпить рюмку водки в ларьке против дома. Теперь приём спиртного участился. Конфузливое «Э-эй, Том, наскреби-ка мелочишки» приобрело форму «дай». Я выгребала гривенники, оставшиеся от тех рублей, которые получал Борис за портреты начальников и присылал, чтобы я продержалась. Но пьяное благодущие Кости продолжалось недолго и сменилось агрессивными наскоками, напоминавшими срывы Бориса. Семейное сходство всерьёз пугало. Дальше – больше. Я оказалась втянутой в семейный конфликт.

– Ты даёшь ему деньги! – возмущалась Александра Фёдоровна. – Он погибает, пропадает ни за грош. Помогите его вразумить. Я всего-навсего прошу, чтобы он согласился на лечение антабусом.

Моё присутствие при уговорах только подливало масла в огонь. От медицинского вмешательства Костя отбивался, обрушивался на мать с тяжёлыми упрёками:

– Раньше надо было обо мне думать, раньше. Когда я, семилетний, бежал за тобой и твоим ухажёром, кричал: «Мама, ма-ма!» – а ты даже головы не повернула. Я кричал, а ты, как на щенка, не обращала на меня внимания...

– Опомнись! Что ты сочиняешь? – поражённо оправдывалась Александра Фёдоровна. – Такого никогда, слышишь, никогда не могло быть! Ни при каких обстоятельствах я не могла бы игнорировать моего мальчика!

Но какая-то застрявшая обида буксовала и буксовала в глубинах психики старшего сына. Не побеждённая сорокалетним сознанием, она выкидывала вневозрастные коленца. Я металась между возмущением и сочувствием. Жаль было Костю. Ещё больше было жаль Александру Фёдоровну.

Лида при этом сидела молча, с потемневшим лицом. Она с удивлявшей меня терпимостью сносила слабость мужа, хотя в вопросе лечения полностью поддерживала свекровь.

– Вы думаете, я хочу вас мучить?.. Не хочу, не хочу, – сдался вдруг напившийся Костя. – Пусть, к дьяволу, ко всем чертям, вшивают эту проклятую ампулу.

Незамедлительно Александра Фёдоровна что-то продала и оплатила лечение сына.

Жертвенность, с которой она бросалась на помощь близким, была поразительна. Это касалось всех. Даже меня. Едва наметился выбор профессии, как она тут же вознамерилась всерьёз подготовить меня к ней:

– У тебя от природы волшебный голос, но он не поставлен. Я договорилась с педагогом Вороновым, у которого училась сама. Будешь ходить к нему заниматься!

Педагог был превосходный. Два занятия, которые я посетила, окунули меня в неведомый мир секретов и подробностей: «Сомкните губы... Произнесите: м-м-м-м... Вслушайтесь в этот первородный звук... Повторите. Нет, не так... Резонировать должно нёбо, всё...» По сути, это были первые в моей жизни профессиональные уроки актёрского мастерства. Но когда я узнала, сколько Александра Фёдоровна за них платит, категорически заявила: «Поскольку никакой уверенности, что я попаду в театр, не существует, то – нет! Нет и нет!»

Твёрдость отказа вызвала небольшую бурю, послужив одновременно некоторому сближению с Александрой Фёдоровной.

Меня как-то особенно мучил один вопрос. Ещё в 1947 году, в зоне, Борис принялся вдруг писать поэму о Сталине. С колонны Ракпас переслал черновик в наш ТЭК, чтобы мы с Колюшкой ознакомились с ним. Среди прочих откровений была в поэме и такая строфа:

...Если ты ошибся – не упорствуй,
Ни слезы, ни бойких слов не трать.
Вытерпи урок, поправься просто!
Мысль о НЁМ не даст душе солгать...

Колино холодное: «Мысль о НЁМ не даст душе солгать?!» и моё: «Зачем ты так?» – задела Бориса. Он обвинил меня в высокомерии и «отъединении от действительной жизни». Вступившаяся за Бориса Хелла сказала тогда: «Дурацкая поэма – не его идея. Он уступил настоянию матери». Я Александру Фёдоровну тогда ещё не знала, но про себя удивилась: «Просить сына сочинять поэму о вожде, который раскулачивал, сажал, уничтожал?»

И вот сейчас, когда эта самая женщина, не питающая ко мне особой симпатии, объявила меня невестой сына и укрыла в своём доме, а я задержалась там, хотя мне от этого было так скверно, что хоть вешайся, – моя принципиальность, мой максимализм пришли в смущение.

Да, нас определяла и определяет всё та же мера: «Нравственно? Безнравственно?» Слава богу, спрос с Человека остаётся устойчивым на той же неколебимой зарубке. Но когда сама власть обзывает честь – бесчестьем, живую мысль – преступной, а отказ от арестованных родителей – нормой, всё смещается. Не хочется поспешно судить тех, кто в сумеречную пору пытается в одиночку отыскать окольные пути во имя спасения близких. Александре Фёдоровне во что бы то ни стало нужна была свобода сына.

Борис к юбилею вождя поэму завершил. Мать попросилась на приём в Кремль. Её к вождю не допустили, автора поэмы оставили досиживать срок. Призвание Александры Фёдоровны быть Матерью я поняла тогда как драму.

Окончательно протрезвев в посуровевшей обстановке дома, я резко и чётко увидела себя глазами семьи Маевских: бросила работу и жильё в Микуни, незваной появилась у них, – потому, видите ли, что пожелала работать в театре?! Такая предыстория у кого угодно могла отбить охоту к участию. Степень недоумения была, видимо, так велика, что никто вообще не придавал значения записке Бориса: «Ей сейчас худо». А то, что он просил меня не называть истинных причин отъезда из Микуни, оставалось известным мне одной.

Микуньские друзья продолжали молчать. Я не находила себе места. Начала списываться с другими знакомыми ссыльными, расспрашивая о возможностях работы и жилья в Сибири.

* * *

Между Лидой и Александрой Фёдоровной и раньше не было особой теплоты. После неудачи с конкурсом, когда старшие дети оказались в критической ситуации, от сдержанности Лиды мало что осталось. В первую очередь это сказалось на отношении ко мне. Невнятность моего положения в доме и раньше не вызывала у неё добрых чувств. А то, что Александра Фёдоровна, навещая первую семью Кости, брала с собой и меня, вызывало ещё большее недовольство и ревность.

– А вам известно, что Борис присылает матери письма своих корреспонденток и черновики своих ответов им? Его письма к вам и ваши к нему тоже хранятся у неё, – объявила она мне вдруг.

Я этого знать не могла. Письма казались мне в ту пору проявлением безоглядного доверия, нестеснённости раздумий, бесстрашия ошибочных мыслей и чувств. Как может то, что предназначалось одному человеку, стать известным кому-то ещё? Однажды так уже было, когда Борис дал прочесть одно из моих писем Александру Осиповичу. Я это очень тяжело пережила. Теперь я приняла сказанное Лидой едва ли не как повторное предательство.

Понадобилось несколько десятилетий для того, чтобы я научилась видеть в письмах *документ*.

Я пыталась уверить себя в том, что при постоянных лагерных обысках потребность Бориса переправить архив в дом матери была неоспорима и разумна. Но едва я примирила непримиримое, как Лида озадачила меня неожиданным заявлением:

– Я безумно влюблюсь в брата моего мужа, когда он освободится и приедет домой.

Раз, затем второй и третий, с явным желанием досадить мне, она игриво переспрашивала:

– Вы, надеюсь, не станете мне мешать?

Я не могла заподозрить её в легкомыслии. Лида любила мужа. Ей, видимо, было очень худо в те дни.

Любопытство подтолкнуло Лиду самовольно познакомиться с семейным архивом. Мне следовало догадаться обо всём раньше. Окончательно прийти к этой немудрёной догадке помогли слова самой Лиды: у матери Бориса хранились не рисунки, а стихи и черновики писем, в том числе его письма ко мне и мои к нему. Переписка с пылким и умным Борисом и впрямь представляла немалый соблазн. Так выяснилось, что и Александра Фёдоровна, и Лида знали обо мне куда больше и детальнее, чем могли бы узнать из моих ответов на незаданные вопросы, которых я ждала.

Каким бы ни обещало быть наше с Борисом будущее, оно зависело не от отношения его семьи ко мне, а от того, как мы сами с этим разберёмся. Мы никогда не оказывались вместе ни на одной из колонн. Виделись, когда с лагерным театром, обслуживающим зоны, я приезжала на Ракпас, где находились Александр Осипович, Хелла и он. Эпистолярная (и это было необычайно важно) форма наших отношений, хоть и проистекала из реальных жизненных коллизий, была изначально ограничена.

После смерти Коли и кражи сына *меня непросто было вызволить* из отчаяния, непросто было поддержать письмами. Не признав за письмами Бориса их чрезвычайной важности, я сама не поняла бы наших странных отношений. Читая и перечитывая его письма, я в конце концов расслышала настоящую интонацию, адресованную потаённой природе человека: «Пойми, ты обязана жить! Это раз. Пойми, ты заядлый, проверенный *радостник*. Это два». Борис без усталости повторял и повторял: «Ты не только мне, ты многим людям нужна, чтобы жить!»

Повязанный по рукам и ногам, заключённый человек заселял листки писем из зоны пересыщенным раствором размышлений и чувств, исповедями и даже провидениями, которые даются умеющим с головой погружаться в жизнь другого человека. Союзником молодого задора Бориса была, несомненно, полученная мною свобода, освобождение. С высоты тридцатилетнего возраста мы спорили о напастях века, толковали о достойном человеческом обществе, об устремлениях самого Человека. Я восставала, когда Борис прибегал к утопиям, но, вовлечённая в них, стала грешить ими сама. И конечно же, свобода играла здесь первую скрипку. «Месяц назад ты писала мне: „Я часто думаю, что мы живём в лаборатории жизни, где создается Человек, которого ждёт Время, от которого столько света“, – цитировал меня Борис и уточнял: «Зоркая, чуткая – да, да! И главное, что мы сами все тут являемся и реактивами, и катализаторами, и лаборантами, и производным продуктом! В лаборатории этой много дыма, душных паров и едких кислот. И Человек в нас рождается под их прожигаящим ливнем в клубях гнева и любви, обид и счастья. Сверху такое прекрасное и бесстрастное небо, а внизу, в жарких сложностях, среди грязи и цветов, слёз и песен, побоев и ласки, рождается Человек в вихре красоты, рядом с кучками отбросов и блестящих бумажек. Ты так верно чувствуешь это вкусное, властное великолепие. И всё в тебе создано, чтобы кружить в нём, озорно кричать „страшным голосом“ от изобилия и, рассекая упругое сопротивление, взмывать вверх и плыть навстречу ветру и солнцу, призывая к тому других...» Преувеличения и пафос диктовались неприкаянной, обобранной, но всё же молодостью. Чем больше проблем у меня было – неизвестность с сыном, отсутствие профессии, преследования ГБ, – тем сильнее была потребность отрываться от реальности и земли, «взмывать вверх и плыть навстречу ветру и солнцу». Должно же было в чём-то выражать себя буйство энергии.

И чего только не было в тех отношениях! На Севере в концертах я читала «Девушку и Смерть» Горького. Борис изготовил горельеф из гипса: голова юноши лежала на коленях у девушки, будто сошедшей с полотен Рубенса. Я не согласилась с такой трактовкой. Приподняв двумя руками своё создание, Борис с силой расшиб его оземь в мелкие куски. Наша переписка после таких сцен обрывалась. Но я судила себя за жёсткость, за причинённую ему боль, снова шла на примирение. Однако поводы к «разночтениям» возникали снова и снова.

В настойчивом чувстве Бориса безусловно была какая-то нешуточная и непостижимая загадка. Мне недоставало ни опыта, ни человеческой зрелости, чтобы разобраться в ней. Мы были ровесниками, жили в одном Времени, но по-разному относились к самой природе вещей и понятий. Не Время – Бориса, а он норовил по-свойски подчинить его своим желаниям. Он сам назначал ему сроки действий. А я признавала во Времени одушевленного и верховного повелителя. Принимая мою подчинённость, оно бесцеремонно и безжалостно говорило мне: «Не жди! Для таких-то и таких твоих надежд я никогда не настану!» Или напротив: «Терпи! Явлюсь!» Я слышала Время, свято верила его языку. И оно не обманывало меня.

В попытке объяснить Борису, почему не откликаюсь на его чувство, я как-то написала что-то вроде новеллы об отношениях со Временем. Сюжет был наивный. Она живёт в лачуге, у моря. В дверь постучался пришелец. Спросил, не найдётся ли у неё весла – заменить сломанное. Они как бы «узнали» друг друга. Он стал звать её с собой к скале в море, у которой любил бывать, слушать, как об неё разбиваются волны, как кричат бакланы и чайки. Но её не оставляла боль утраты любимого человека, и она отказалась с ним плыть.

Я хотела разобраться в сути этой невнятицы. И неожиданно ко мне пришло воспоминание об одной из теософских книг Кржижановской, которую я в юности брала читать из домашней библиотеки любимой подруги Ниночки Изенберг. Там никак не могла разрешиться схожая ситуация: он любит её, а она относится к нему разве что с интересом и любопытством. Не более. Их встреча в следующем воплощении ничего не изменяла. В третьем – также. И только в последующем, четвёртом воплощении в материальной природе обоих, как в некоей знаковой системе, что-то смещалось и помехи устранялись сами собой. Выпутавшись из теней памяти, этот мистический сюжет предложил себя в расшифровщику тайны.

Но далее меня поразил уже сам Борис. В день моего рождения по дороге на работу он вручил мне какой-то прямоугольный, завернутый в ткань предмет, около метра в длину. Раскутав его дома, я поставила на стол написанную им картину. Более половины левой её стороны было отдано вскипающим, лучисто-зелёным морю и небу. В опровержение незатейливого сюжета моей новеллы, справа, вместе, плечом к плечу были обозначены не слишком чёткие поясные портреты мужчины и женщины. Мужчина держал в руках весло. Поразительно было то, что, при некотором сходстве персонажей с ним и со мной, в облик обоих Борисом были внесены чуткие поправки, в корне менявшие моё восприятие и его, и себя. Я неотрывно смотрела и не могла понять: как такое может быть? Борис не был тогда профессиональным художником, не в полной мере владел рисунком и цветом. Картина вообще была не завершена. Какой же непостижимый инстинкт помог ему отыскать в воображении черты, которые один хотел бы видеть в другом? Будто он изобразил себя приемлемым для меня, а мне придал ту внутреннюю пластику и тот овал лица, в которых было выражено что-то сугубо моё. И я ведь не делилась с ним содержанием романа Кржижановской! Его личное художническое чутье на обе лопатки опрокидывало мистику писательницы Кржижановской, и сам Борис предстал теперь непознанным явлением.

Ещё до той картины он писал: «Это правда, что люди рождаются уже близкими. В этом нет выдумки. Они могут никогда не встретиться... Я ведь всегда знал, что ты есть. И что отыщу. Найти тебя значило стать собой. Целым. Страх? Он мог быть прежде. Не найти. Пройти мимо. Заплутать по пути к себе-тебе. Уже встретив, не сумеешь подать знак, не узнать в лицо и остаться неузнанным. Это было бы кошмаром бессмыслицы. Но я слишком хорошо знал, кто мы друг другу. Не в отношениях даже, а по сути...»

«Не в отношениях даже, а по сути»? Он провидел и этот драматический разлом, двуязычье на развилке «отношений» и «суть». Тайна была и в том, что картина Бориса меня странным образом утешала. При моих тридцати двух годах, прожитых так, как они были прожиты, я если о чем-то ещё и мечтала, так это о единомыслии и одиночестве с другим человеком в некоем условном будущем.

Как бы вынутые из глубин запролочного мира, эти странные отношения в московском родовом гнезде Бориса представлялись мне несколько иными, чем на Севере. Поубавилась и стала покрываться патиной безусловная вера в то, что Борис любит меня «без памяти». В одном письме, уже из Москвы, я переспросила его: если так сильно любит, как говорит, то – за что? Ответ оказался непредвиденно трезвым, неромантичным: «Спрашиваешь, за что люблю? Какую?.. Ну да, Томушка моя, за силу жизни в тебе, упрямую, яркую, неистребимую. Вот какую люблю. А с остальными Томками, что толкутся в ногах у этой со своими слабостями и неуверенностями или вьются поверх нас с хаосом избытка и раскалённых порывов? С ними кое-как мирюсь, то мучаясь, то смешливо шурясь, знаю, что они побочные, как лишние ветки у дикого дерева, которые пьют соки и хлещут прохожих, пока не усмирит их садовник-разум ножом да лыком. Тогда зацветёт, нальётся, раскинется моя главная Томка и настанет время плодоносить... Хоть и сам я грешил последнее время в сентиментальных излишествах, но если бы спросила, за что не люблю тебя, моя Зорька нежная, сказал бы: „За анархию, чёрт побери! Треба дисциплинки“. Оно хоть и манит пустить сердце враспояску, да роскошь эта не по здеш-

нему житью. Ох! Прости меня, прости... Пробую балагурить, а не получается. Рвётся, рвётся вся душа к тебе: успокоить, всю боль твою выпить, разомкнуть душу твою. От всех и от всего закрыть, чтоб отдохнула птица моя. Если бы я мог быть так же спокоен за тебя сегодня, как спокоен за нас через полтора года...»

Чётко, образно, нелицеприятно «по сути» ответил друг. Да только что же это я, на самом деле, за такое-эдакое, что вызываю и у ГБ, и у любящего человека столь схожие желания «усмирить» меня и остричь?.. Заслышав на Севере лязг ножниц, я, как «лишняя ветка», самолично отломил себя от ствола. Место отрыва и сейчас ещё нещадно саднило. Выходит, что-то надобно «усмирять» и «стричь» ещё и ещё?

Что и говорить, в письме хватало неканонических, проницательных наблюдений. Про «анархию», про «треба дисциплинки», про «нож да лыко разума». Со многим можно было согласиться. А вот в чём он узрел «силу жизни», если каждый день и час сама я чувствовала себя так неуверенно? И подумалось – тогда ещё вроде бы попутно, – что трезвость Бориса очень в новинку. И – очень *неспроста*.

* * *

В конце лета Александра Фёдоровна устроилась работать библиотекарем в один из подмосковных пионерских лагерей. Попытки в любом качестве пристроить и меня разбивались, как и прежде, о нелегальное проживание в Москве и паспортную рогатку.

– На несколько дней приедешь ко мне погостить, – отвоевала наше «вдвоём» мать Бориса. – Я сказала: ко мне приедет невестка...

Внутри всё было натянуто. Как я справлюсь со своими «честно-нечестно» при ответе на вопрос о её сыне, который – я это понимала – непременно будет задан, когда мы окажемся с ней вдвоём?

Автобус, в котором я ехала в Одинцово, неожиданно остановили двое милиционеров. Проверка документов грозила высылкой из столицы в двадцать четыре часа, могла поставить под удар Александру Фёдоровну. Я только делала вид, что храбро переношу нелегальщину, а сейчас кто-то из пассажиров даже спросил меня: «Дать валидол?» Милиционеры же всего-навсего указали водителю, как объехать опасный участок пути: взрывали стоявшую у дороги облупленную, грязно-белого цвета церковь семнадцатого века. Не справляясь со стойкостью стен, динамит только оставлял выбоины.

– Темнота, – ворчал водитель, – небось и не ведают, что в прошлые века, когда церковь ставили, в цемент яичный белок подмешивали...

Колокола со звонницы давным-давно были сброшены и переплавлены в промышленное сырьё, а на весёлой поляне вокруг церкви ветер клонил долу живые лиловато-синие колокольчики на тонюсеньких, но крепких ножках.

Пионерлагерь располагался на берегу небольшой речушки. Пригорки. Лесок. Утром звук горна, линейка, россыпь детей... Во время «тихого часа» мы с Александрой Фёдоровной уходили побродить по лугам. Я напряжённо ждала трудного для себя вопроса. Она его задала:

– Скажи, Томочка, ты любишь моего сына?

– ...Мы понимаем друг друга, Александра Фёдоровна. С ним интересно. Он умный, верный.

– Я не такого ответа жду от тебя. Сама знаю, что мой сын талантлив и ярок. Я хочу знать, любишь ли ты его.

И я ответила: «Да, люблю». Ответила так потому, что для меня полноправной половиной нежеланного Бориса, имевшего славу донжуана, был растерянный мальчик, которого я губила своим неприятием, а он этого не заслуживал; потому что, услышав, с какой готовностью он выдохнул в Микуни: «Езжай к Ма! Там всё рассудите», – я в первый раз поверила, что он и

правда меня любит. И потому ещё, что, ничего не «рассудив», Александра Фёдоровна проявила ко мне доброту в ужасающий по сути момент моей жизни.

Мы сидели на траве у кромки леса. Чем-то я ей всё-таки нравилась. Она провела рукой по моим волосам. Придирчиво оглядела и попросила:

– Попробуй зачеши волосы гладко, назад.

Я причесалась, как ей хотелось.

– Ну, это же совсем другое дело! – обрадованно воскликнула она. – Посмотри, как тебе идёт такая причёска.

«Ничуть она мне не идёт», – думала я. Но как же это всё, однако, странно! Какое удивительное единодушие у нас троих! Каждому хочется что-то подкорректировать, что-то изменить в другом. Когда я ответила Александре Фёдоровне, что люблю её сына, то надеялась, что со временем его любовь перейдёт в дружбу, как-то всё утихнет, сойдёт на нет...

Мою трудовую книжку из Микуня по неяснённым причинам друзья так и не выручили. Но когда перевели полученную за меня зарплату, я тут же купила билет на поезд до Черновца. Оттуда – в ответ на моё письмо – пришло настоятельное приглашение от врача Анны Емельяновны Бородиной, с которой мы работали в микуньской поликлинике. Не отягощая дальше своим присутствием семью Бориса, там я могла переждать оставшееся до открытия биржи время.

Глава вторая

Ещё и посадка не закончилась, а на нижней полке купе в поезде Москва—Черновицы (ныне Черновцы), куда мы зашли с Костей и Лидой, уже спал пассажир. Когда только успел заснуть? В сетке над его местом лежала фуражка военного лётчика. На вешалке висел китель.

– Только не опаздывай к началу биржи, – напутствовал Костя. – Там каждый день дорогого стоит. Не более трёх недель! Ясненько?

Биржу я ждала как манну небесную. Опаздывать на её открытие не собиралась, но и о возвращении ранее чем через три недели не помышляла.

Мы уже прощались, когда спавший пассажир открыл глаза, сел, крутанул головой, скидывая с себя наваждение сна, и стал оправдываться, что накануне, перед многочасовым перелётом из Ташкента в Москву, поспать не довелось: потому, мол, его и «скосило».

– Присмотрите тут за нашей родственницей, товарищ полковник, – обратился к нему Костя.

– Не беспокойтесь. Всё будет в порядке, – с готовностью отозвался лётчик.

Вошли и заняли места двое других пассажиров.

Укладываясь спать, как то и положено, я пожелала всем спокойной ночи, на что ташкентский пассажир неожиданно отозвался не слишком понятной двусмысленностью:

– А я вам желаю – беспокойной...

Потуга полковника сострить, достойная «фон солдафона», покорила. Пожелание же его сбылось в полной мере. Постоянно находясь на людях в доме Бориной Ма, я не давала воли чувствам. А тут все нерешённые проблемы плюс нажитые в Москве долги, с которыми я не видела возможности расплатиться, предстали передо мной во всей неумолимости и схватили за горло. Захлёбываясь слезами, я половину ночи провела в коридоре купейного вагона.

Анна Емельяновна, к которой я сейчас ехала, была человек добрый и замечательный, но за нашими отношениями, как и за отношениями с семьёй Александры Фёдоровны, съеденных вместе пудов соли не значилось. Мы около полутора лет проработали с ней бок о бок в микуньской поликлинике. Когда мне надо было удалить зуб, я попросилась к ней на приём как к зубному врачу. Она ввела мне обезболивающее. Я потеряла сознание. Первое, что я различила, когда очнулась, был её шёпот: «Тамарочка Владиславовна, Тамарочка Владиславовна...» – и белое от страха лицо. Она протирала мне виски нашатырным спиртом. Её искренний испуг за меня и способствовал нашему сближению.

День был уже в разгаре, когда я поднялась после бессонной ночи. В купе – никого. Окно затенено. Постели – аккуратно заправлены. На столике стояли принесённые кем-то со станции цветы. Купе напоминало чистую горницу, по чьей-то прихоти поставленную на колёса и самоchinно мчащуюся через пространство. Хотелось, чтобы так всё и длилось до места назначения.

Возвратившийся в купе военный, спросив о чём-то незначащем, стал чинить допрос:

– У вас что-то случилось? Почему такое отчаяние в глазах?

– Ровным счётом ничего. Тем более нет никакого отчаяния.

– Я вас серьёзно спрашиваю... И потом, хотел извиниться за вчерашнюю банальность...

Он представился:

– Меня зовут Василий Иванович. А вас?

Назвалась и я.

– Какое-то несчастье? – упорствовал он.

Его трудно было заподозрить в тонкости, потому на новый заход: «Что всё-таки случилось?» – я ответила, как мне казалось, на уровне его вагонного любопытства:

– Муж бросил.

– Заметное обстоятельство, – согласился он. – Случается, и жёны мужей оставляют. Бывает, потом снова сходятся.

– Возможно.

Жара вынудила открыть окна и двери. Поезд лихо катил. За окном – раздолье. По тропинке, параллельной железнодорожному полотну, с той особой сосредоточенностью, которая обещает честолюбивую натуру, самозабвенно нажимая на педали, мальчик-велосипедист состязался с поездом. Окружающее миролюбие, то, что я никого не обременяю и нахожусь в пути, успокаивало. Хорошо было бы вписаться в эту обыденность, занять в ней собственное место, а я ощущала себя по-прежнему гостьей.

Следующий день был ещё жарче. Ехали уже по Украине. Корпевшие над уборкой зерновых колхозники распрямляли спины, чтобы помахать проходящему поезду. Двое из попутчиков ушли в вагон-ресторан. В открытую дверь заглянул пожилой генерал из соседнего купе. Театрально укорил ташкентского полковника:

– Ишь, оккупант, захватчик! Какие такие байки тут рассказываете? Я небось знаю не меньше. Пригласите?

– Артистка? – спросил он меня, усевшись.

– Нет. Педагог.

– А что преподаёте?

– Литературу.

– О-о! Мой любимый предмет. А украинских поэтов знаете, любите? Побалуйте каким-нибудь отрывочком...

Узнав, что я никогда не видела Киева, генерал предложил домчать до Крещатика на машине, которая будет его встречать. Пообещал: за полчаса стоянки поезда «успеете не только на град глянуть, но и зайтись от восхищения». Василий Иванович с жаром поддержал затею. Киев мне, разумеется, увидеть хотелось; я почти согласилась. Но когда на подъезде к украинской столице один и другой вышли из купе при всех своих регалиях, оповещавших об их принадлежности к верхам военного сословия, я с ощущением фиктивности ситуации сослалась на какое-то «не могу» и от экстравагантной поездки по Киеву – отказалась. Мир этих людей был мне решительно чужд и незнаком.

С перрона киевского вокзала полковник вернулся с ворохом фруктов и снеди. Прибегнув к обходному манёвру, принялся рассказывать о рождении сына, которого ещё не видел, а только сейчас вот едет в Тирасполь к семье. Но спустя какое-то время предпринял очередной раунд атаки:

– Расскажите: что у вас стряслось на самом деле? Честно: *что*?

Какое-то из «лиц» попутчика не совпадало с расхожим представлением о военном звании.

– Я *должна* рассказывать вам, что у меня случилось «на самом деле»?

– Разумеется, не должны. Я прошу об этом... Признаться, сам не знаю почему. Но мне как-то *надо* знать, что с вами приключилось, и всё тут.

Новая обойма его вопросов была уже явным перебором. И в нарушение здравого смысла я с неожиданным вызовом спросила:

– Слышали про пятьдесят восьмую статью? Так вот, я отсидела солидный срок по этой статье. Идёт третий год, как освободилась. Откуда-то и куда-то еду. Работы нет. Дома нет. Вот такая история.

На собеседника я не глядела. Я хорошо знала, что происходит, когда на подобные расспросы следовал прямой, как шомпол, ответ про 58-ю статью. Чаще всего лицо огорошенного собеседника цепенело, будто ему нанесли личное оскорбление, и он тут же устранялся от дальнейших разговоров вообще. Интонация очередного вопроса моего попутчика оказалась ни на что такое не похожа. С неожиданной и неправдоподобной бережностью он произнёс:

– ...Как же вы выдюжили такое?.. Как вынесли?.. Прорвались через это – как?
Что это было – сочувствие? Понимание?

– Не знаю, – ответила я безоруженно.

Он стал расспрашивать: где сидела? С политическими? Или пришлось соприкасаться с уголовниками? На каких работах была? Есть ли семья? И особенно подробно – об отце:

– Отца – в тридцать седьмом? В каком месяце?

– Двадцать третьего ноября.

– А что знаете о его дальнейшей судьбе?

– Было одно письмо в тридцать восьмом году.

– Откуда?

– Из Магадана.

– ...А судьба матери? Сестёр? Но вы-то? Вы?..

И тогда спросила я:

– А вы о себе расскажете?

Во время войны он летал на истребителе. Имел на счету не один сбитый самолёт. На третьем году войны немецким «мессершмиттом» был сбит сам. Самолёт рухнул в болото. С переломами, увечьями, он чудом остался жив. Очень хотел отстоять жизнь. Отчаянно боролся за каждый час, за каждый метр, который удавалось проползти. Компаса не было. Выбравшись из трясины, невдалеке услышал немецкую речь. Понял, что находится в окружении немцев, которые периодически прочёсывали лес. Сливался с буреломом, переживал. От боли и голода терял сознание. Ночами наугад полз и полз к линии фронта.

– Добрались?

– Добрался.

– А затем? Лазарет?

– Нет. Затем – СМЕРШ! Допросы. Проверки... Авиация – это уже потом, изрядное время спустя. Что-то вы со мной неладное творите, Тамара Владиславовна. Я об этом только двум близким людям рассказывал.

– Я тоже мало кому говорю о своём. Никто, правда, вопросами особенно и не донимает.

– А вы не сожалейте об этом. Так-то оно и лучше. Впрочем, как знать, как знать... Может случиться, что мы с вами когда-нибудь подробнее поговорим о наших отцах...

О наших отцах? Я не ослышалась. Уточняющих вопросов задавать не стоило.

– Вернул я ваше доверие? – спросил он.

– Вернули.

Что-то уже заживало, зарубцовывалось в конце 1952 года, после войны, после проведённых в лагере лет, но ещё не стало зачерствевшей хлебной коркой. Клеточная память о грязи, о голоде, о заскорузлых, окровавленных бинтах, о потерянности и тоске, которые человек испытывал один на один с мёрзлой землёй, под холодными небесами, – была ещё жива. И хотя ташкентский попутчик принадлежал к малознакомому типу людей – внешне уверенный в себе, эдакий хрестоматийно мужественный витязь, – но и сам поезд, и «фон солдафон», и все его регалии после разговора стали как-то несущественны. «Чудом остался жив», «выполз из окружения», «терял сознание», «допросы», «СМЕРШ» – этих и других его слов хватило, чтобы ощутить, что мы рекрутированы нравом одной страны, хорошо перемолоты её историческими бедами. Мы говорили на одном языке.

Тон лётчика стал деловым:

– Вас пугают наши с генералом звания? Я не ошибся? Мои значат одно: я сделаю всё возможное для вашего устройства на работу. В Куйбышеве у меня друг – секретарь обкома. Друг в Оше – председатель горисполкома. И тот и другой сделают всё, о чём я попрошу. А просить буду – найти для вас хорошую работу. И чтобы квартиру подобрали «с настроением».

Я поверила Василию Ивановичу. Ни своей влиятельности, ни желания помочь он, по-видимому, не преувеличивал. Только секретари обкомов, председатели горисполкомов были из таких чуждых мне сфер, что одно это перечёркивало его обещания. К тому же о главном в тот момент – о многомесячных преследованиях микуньского ГБ, о своём бегстве с Севера – я попутчику, естественно, не сказала.

Вернулись двое других пассажиров. Похрапывали в подпитии.

Товарищ по одиночным сражениям за Жизнь попросил оставить ему адрес.

– У меня нет адреса, – ответила я.

Этого он не мог взять в толк, настаивал: «Какой-нибудь». На листке, вырванном из блокнота, я написала адрес микуньской приятельницы, врача Риты Дубинкер-Кривченок, понимая, что в тех местах вряд ли когда-нибудь окажусь. И, к слову сказать, была немало удивлена, когда много времени спустя получила через Риту безнадёжно устаревшее письмо от полковника. Он сообщал адреса начальственных лиц городов Ош и Куйбышев, заверял, что работа мне гарантирована и что я должна немедленно списаться с ними и оговорить род службы...

Поезд шёл уже по Молдавии, приближался к Тирасполю. Василий Иванович вытаскивал чемоданы и повторял с отсутствующими глазами:

– Я уже весь там. Представляете: впервые увижу сына!

Перед самым Тирасполем он присел напротив:

– Не приходилось, знаете ли, мне встречать таких женщин, как вы. Если честно, не подозревал, что такие существуют.

– А я там встречала похожих на вас. Знаете, как я их называла?

– Как?

– Мужчины-матери.

Через окно я видела, как по тираспольской платформе навстречу этому белозубому человеку мчались трое его детей. Он разом сгрёб их в объятия. Дети болтали ногами, что-то выкрикивали. С грудным ребёнком на руках, в весёлом цветастом платье, певуче двигалась ему навстречу привлекательная женщина. Он указал носильщику на чемоданы, и супруги в обнимку двинулись по перрону к выходу из вокзала.

Совсем уже к ночи поезд остановился в степи. Ждали встречного. Усевшись на корточки у ступенек вагона, курил проводник. Спустились на землю некоторые пассажиры. Соскочила и я в тёплый-претёплый вечер, на незнакомую молдавскую землю.

Всё было залито вязким, рыже-оранжевым светом августовской луны. Пьяняще пахли южные травы. Стрекотали цикады... Подсмотренная, подслушанная благодать опрокидывала сердце. Меня стало заполнять откуда-то взявшееся целостное и глубокое ощущение Жизни. Поверилось, что и у меня всё как-то отстроится и образуется.

* * *

Дорожным разговором с лётчиком я поделилась позже с моей чешской подругой Хеллой Фришер. Внимательно выслушав, она суммировала наш диалог одним словом:

– Интермедия!

Образно! Перемычка между актами пьесы? Что ж!

Ещё однажды, лет уже через семнадцать, я, наверное, не слишком убедительно пересказала этот эпизод мужу. Поделилась тем, что хочу упомянуть о нём в воспоминаниях. Он пожал плечами: «Лишнее. Ни к чему». Но без этих внутренних перемычек не выстраивалась моя «связь времён». Не случись в 1944 году остановиться составу с фронтовиками, следовавшему на передовую, против нашего, арестантского, не услышь мы тогда сорвавшегося на истошный крик командирского голоса, защитившего нас, оголодавших заключённых, – что-то непоправимо было бы оборвано. И если бы в 1952 году в поезде Москва—Черновицы ладный лётчик

не намекнул, что сумел скрыть правду о судьбе своего отца, арестованного в тридцать седьмом, разве можно было бы спрессовать в одно пёстрое междурядье нашей жизни? Такие эпизоды не давали переплавлять всё в лживые мифы.

* * *

У Анны Емельяновны было трое детей: две девочки – трёх и шести лет и годовалый мальчик. С Севера она уехала, чтобы вырвать мужа из компании выпивох и спасти семейную жизнь. В то время казалось, что замысел оправдал себя. В Черновицах её муж устроился в бригаду монтажников, с которыми периодически уезжал на сезонные заработки. Квартира из четырёх комнат, в которой жила Анна Емельяновна, принадлежала её старшей сестре, которая тогда тоже находилась в отъезде. Нечаянно мне выпала удача пожить в отдельной комнате.

При побеге с Севера я не успела проститься с могилой Колюшки, поэтому в Черновицах первым делом отправилась на кладбище. В предгорье Карпат оно располагалось на самом высоком из холмов. Чья-то фантазия так использовала ярусное расположение плоскогорий, что построенный на более низком уровне город только мерещился отсюда сквозь испарину жаркого дня. Таким образом, в иерархии обитания живых и ушедших вечное господствовало над бренным. Высота и отвес кладбищенского холма говорили о быстротечности жизни по сравнению со смертью и о смирении первой перед второй. Почти на каждом склепе старинного кладбища был закреплён фонарик для свечей. Даже в полдень в некоторых уже горели свечи. Безвольно свисающие ветви плакучих ив символизировали скорбь, устремлённые ввысь стволы тополей и каштанов – распрямление этой скорби. Над тяжеловесными плитами, над крышами склепов парили ангелы из мрамора и гипса, сообщая последним пристанищам некую неоконченность.

Возле одной из свежих могил я увидела сначала лежащий на земле велосипед, а потом уже прикатившего на нём подростка. Видимо, это была могила его отца или матери. Не желая отрываться от того, кто его покинул, обхватив руками свежий могильный холм, лёжа лицом вниз, он крепко спал...

До посещения черновицкого кладбища я не представляла себе, что усыпальницы могут быть так причудливы и так не похожи друг на друга. Это был настоящий пантеон по сравнению с северными свалочными ямами, над которыми рядами торчали жалкие деревянные кольшки с прибитыми к ним фанерными прямоугольниками, где значились номера погибших в лагере. В солнечный, затаивший дыхание день на черновицком кладбище, пока я переходила от одного надгробья к другому, мысль о смерти отступала перед чувством благодарности к тем, кто не допускал святотатства.

Как и в любом новом городе, в Черновицах я устремилась в адресный стол с надеждой выяснить местонахождение сына. Попутно разыскивала друзей по Северу. В Черновицах, как я предполагала, могли находиться братья Розенцвейги, Михаил и Захар, с которыми мы были вместе в ТЭКе. Кто знает? В Румынию их всё равно не выпустили бы.

За ответом в адресный стол надо было прийти через час. Анна Емельяновна повела меня по городу: сувенирного облика университет; выложенный серой и розовой плиткой подход к нему; дома с красно-зелёными черепичными крышами причудливой конфигурации... Мы вышли на берег реки Прут, несущейся к Дунаю. Стоя у этой стремительной, бурливой реки, я живо вспомнила историю братьев Розенцвейгов. Одержимые мечтой попасть в Советский Союз, они соорудили самодельную капсулу и с риском для жизни переправились через Прут из Румынии. Как только они выбрались на берег, пограничники скомандовали им: «Руки вверх!» Вместо желанной свободы в Советском Союзе братья за незаконный переход границы получили по три года, увеличенные затем до семи лет лагерей. Смирнее смиренных проявили они

себя по отношению к постигшей их участи. Срока им вполне хватило, чтобы поостыть и навсегда распрощаться с «факельными» идеями.

Адрес семейства, в котором подрастал мой сын, в Черновицах не значился. Братья же Розенцвейги проживали на Сталинградской улице.

Их коммунальная квартира находилась в подвале. Я постучала в застеклённую дверь. Со стороны комнаты приподнялась занавеска. Появилось заспанное лицо младшего брата, Захара. «Кого угодно могли ожидать в Черновицах, только не тебя!» – ахая, повторяли братья, не стесняясь слёз.

Комната, в которой они ютились, была вопиюще бедна. Там не было ничего, кроме кроватей, стола и трёх табуреток. На выбеленной добела стене висел внушительных размеров портрет их отца с лентой из чёрного крепа. После побега сыновей на допросах в сигуранце Бухареста отца истязали. Замучили до смерти.

Братья играли в оркестре местной филармонии: Миша был скрипач, Захар – барабанщик. «А помнишь? А не забыла?» – лился наш разговор. Нет. Ни они, ни я ничего из нашего зимовья не позабыли.

– Помнишь, как я не успел вынести из вагона твои вещи? Поезд тронулся, и они уехали. Ты меня даже не попрекнула.

И, конечно, вопрос: «Как сын?» И моя поправка: «Не *как*, а *где*».

Надо было видеть, с каким пылом утешал меня младший, Захар: «Ты непременно его найдёшь!» Воодушевление Захара объяснялось его собственным необычайным, но реальным опытом. Освободившись, оба брата решили ехать в Черновицы.

– Попасть в Румынию надежд не было никаких. А из Черновиц невооружённым глазом можно видеть румынскую землю. Вот мы и смотрим каждый день на свою родину отсюда. Когда приехали, я всё ходил и ходил по черновицким улицам, – рассказывал Захар. – Представляешь, перехожу однажды проспект и вижу: идёт впереди женщина, и ноги у неё точь-в-точь как у моей жены Салли. Я иду, глаз не могу отвести от этих ног. Она поворачивает с одной улицы на другую. Я, как загипнотизированный, иду за ней. Потом думаю: «А фигура? Фигура ведь у неё тоже как у моей Салли». Тут она внезапно останавливается. Я, знаешь, забегаю вперёд и вижу, что у неё и лицо моей Салли. Думаю: «Так ведь это и есть моя Салли». Она тоже на меня смотрит. Глядим друг на друга, а поверить тому, что видим, ну до того трудно, что и не решаемся... Видишь, как бывает? Так что не отчаивайся. Точно так и ты найдёшь сына. Вы ещё так будете с ним счастливы...

Увидеться снова с братьями и познакомиться с женой Захара мне, однако, в тот раз не удалось.

Вместе с Анной Емельяновной и её ласковыми детьми мы ходили на рынок, в парк, по городу. Дней через семь после приезда все вместе пошли на почтамт. Александра Фёдоровна обещала телеграфировать, когда получит мою трудовую книжку. Вместо ожидаемой телеграммы мне выдали письмо от неё: «Из Микуни просят передать, что твою трудовую книжку не отдали и не отдадут!.. Отделение микуньского ГБ объявило на тебя ВСЕСОЮЗНЫЙ РОЗЫСК!.. На случай перлюстрации писем Ц. Б. (Циля Борисовна) будет в письмах обращаться к тебе как к мужчине. Называть тебя будет Ростислав...»

Сперва я читала этот текст как бред, абсурд, затем – как гнусную и жуткую *правду*. Нацеленный, слепящий прожектор сыска шарил по стране, разыскивая меня, как преступника?! Мне столь немислимым образом мстили за то, что прозевали мой отъезд?

Пять суток я провела взаперти. Знакомое обморочное бессилие. В сердце – ничего. В защиту – никого. Парализован мозг. Куда ещё бежать? Изменить имя, фамилию? Раствориться? Лишь бы как, лишь бы где, но существовать? Однажды в Микуни этот вопрос уже был решён: лучше смерть! После микуньского ночного ареста мною распорядилась стихия. Сейчас ни она, ни разум не напоминали о себе. На этот раз инстинкт изготавливал «путевой лист»

к поступку. Надо ехать в Москву – раз! Отправиться в алчущую пасть главка ГБ – два! Напрямую спросить там: «Что вам, в конце концов, от меня нужно? Смерти я не боюсь! Не оставите в покое – покончу счёты с жизнью».

Невысокого полёта идея? Стратегически наивно? Неумно? Пусть! Но по тому, как стала оседать и униматься смута, я поняла: верно! Только так! Поездка в главк МГБ в Москву – моя последняя ставка. Альтернативы нет!

По дороге в Москву уверенность в правоте поддерживали два крайне простых соображения. Первое: злобно преследующий меня гэбист психически нездоров! Второе: если шизофреникам предоставлено право определять жизнь других людей, то желать такой жизни – мерзость!

Чудовищно было думать, что я могу никогда не увидеть сына, не узнаю, как он смеётся, как хмурится, каким растёт; не увижу сестру; никогда не буду счастлива. Это гибельное чувство во всей полноте позже выразил Борис Пастернак:

Я пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони,
Мне наружу хода нет.

Мысль, что я до сих пор не исполнила данного при освобождении из лагеря Александру Осиповичу обещания встретиться с его женой, Ольгой Петровной Улицкой, пришла внезапно. Настигла меня в пути. Поезд как раз подъезжал к станции Раздельная. До Одессы, где жила Ольга Петровна, было рукой подать. Долг перед Александром Осиповичем в один миг возымел почти физическое свойство толчка, и я, так же как при побеге из Микуни, повиновалась безмолвному приказу: сошла с поезда на Москву и пересела на поезд одесской ветки. Не таясь, не прячась от розыска, руководствовалась только одним: «Да, случиться может всё! Вплоть до самоубийства. Если же обойдётся, бог весть когда я ещё окажусь здесь. Надо выполнить обещанное!» Во всех критических ситуациях такие внутренние подсказки были для меня достовернее и живее всех доводов разума. Внутренний диктат предписывал: «Сойди! Пересядь!» Ослушаться я не могла. И насколько же по-иному протекли бы последующие годы жизни, не подчинись я тогда этому безоговорочному императиву.

На отчаянно дребезжащем трамвае я доехала по жаркой Одессе до улицы Павлова, где в доме 37 проживала жена Александра Осиповича. Всякий раз, как я оказывалась у порога дома родственников северных друзей, душу охватывало сомнение: а нужен ли им посланец *оттуда*? Их жизнь – другая, она заполнена другими целями и интересами. Ни ты этих людей, ни они тебя не знают. Но Александр Осипович *просил*, чтобы именно я рассказала о нём жене!

Разыскав в прохладной подворотне обшарпанного дома нужную квартиру, я позвонила. На звонок долго никто не отзывался. Затем откуда-то сверху допотопным, скрежещущим механизмом отворили дверь. Женский голос сверху спросил:

– Кто там?

– Мне нужна Ольга Петровна.

– Ольги Петровны в Одессе нет. Она сейчас в Кишинёве. Снимает там фильм.

– Простите.

Я повернулась, чтобы уйти. Голос поторопился задержать:

– Вы же не сказали, кто её спрашивает.

– Вы меня не знаете.

– Тем более.

По тяжёлой поступи поняла, что с лестницы спускается пожилая, не очень здоровая женщина.

– Я сестра Ольги Петровны, Елена, – назвала себя женщина с удивительно добрым лицом. – А вы кто?

– Моё имя вам ничего не скажет. Вы вряд ли меня знаете.

– И всё-таки – как вас звать?

– Передайте, что приходила Тамара Петкевич.

– Кто-кто? – всплеснула руками сестра Ольги Петровны. – Да как же так? Саша столько о вас писал! Вы что, могли бы так взять и уйти? Сейчас же поднимайтесь, Тамара Петкевич! Мы вас давно ждём!

В растерянности и неловкости я подчинилась повелительному тону. Поднялась на второй этаж. Елена Петровна продолжала командовать:

– Наденьте эти туфли. Познакомьтесь с нашей мамой. Ей девяносто пять лет. Мы её зовём Зайка. Садитесь на диван. Сейчас пойду налью вам ванну, а пока она будет наполняться, спущусь вниз и дам Олечке телеграмму. Почта в нашем доме. Я быстро. Ешьте ягоды, отдыхайте.

Чувство было одно: нечаянно отворилась не замеченная ранее дверь – и я оказалась у согревающего огня. Как выбившийся из сил путник, я могла передохнуть.

Получив телеграмму, Ольга Петровна уже к вечеру примчалась в Одессу. На пороге появился излучающий свет человек. Это было первое, побеждающее всё остальное впечатление. Мне подумалось, что внешность её нарочно придумана для того, чтобы хоть какой-то видимой строгостью притушить её сияние и теплоту. «Вот она какая – жена моего Учителя! Вот какая!»

Из лагеря особого режима письма от Александра Осиповича не приходили. Получал он её посылки или нет, Ольга Петровна не знала. И вот уж кто принялся расспрашивать о нём и о нас! Я отвечала. Рассказывала. Рядом сидел удивительно трепетный и отзывчивый человек. По профессии кинорежиссёр, Ольга Петровна не отказалась от репрессированного мужа, как от неё того требовали, угрожая увольнением. Её ущемляли, притесняли, не разрешали снимать то, что она хотела. В конце концов она перевелась с Одесской киностудии на студию «Молдова-фильм», где к анкетным данным были не так строги.

Сёстры уговаривали меня погостить в Одессе, погреться на черноморском пляже. Я путано объяснила: тороплюсь в Москву, задерживаться не могу. О собственных обстоятельствах рассказывать не стала.

Закомпостировать мой билет Ольга Петровна вызвалась сама. Когда же мы приехали на вокзал, оказалось, что до Москвы я поеду в международном вагоне.

– Это наш маленький подарок, – пояснила Ольга Петровна. – И поверьте, нам это нужнее, чем вам. Так что не смущайтесь.

– А тебе не кажется, – обратилась Елена Петровна к Ольге, – что она наша младшенькая сестрица?

Двое суток в Одессе были мне сброшены сверху, как верёвочная лестница – Тем, Кто благословлял меня на жизнь. Я отъезжала от Одессы к месту своей последней схватки с властью в мягком купе международного вагона. Отъезжала с чувством обретения родного дома, в новом звании «младшенькой сестрицы» жены и свояченицы Александра Осиповича.

* * *

В Москве, на Кузнецком Мосту, я заняла очередь в приёмной МГБ. Мне обязаны были наконец разъяснить, почему человек не имеет права отказаться от сотрудничества с органами безопасности и что именно причисляет меня к особо опасным преступникам, на которых объявлен всесоюзный розыск. Разрубить все узлы должны были здесь, сейчас и навсегда. К границе Жизнь—Смерть меня придвинуло вплотную.

По приёмной туда-сюда сновали те, кто принимал, и те, кто хотел быть принятым. Проходивший через приёмную военный в большом чине неожиданно остановился возле меня:

– Что у вас? Заходите... Слушаю.

Растерявшаяся от неожиданной внеочередности, «втащив» себя в казённый кабинет, я сначала не могла вымолвить ни слова.

– Садитесь. Говорите.

Сжатая, заржавевшая пружина выбила все затворы разом. Как в угаре, я рассказала о больнице, до которой была доведена преследованиями РО МГБ в Микуни, о подписи и о своём отказе, об угрозах гэбистов снова засадить меня в лагерь, заслать на лесопункт; о лицемерном обещании разыскать украденного сына за согласие сотрудничать; об инсценированном ночном аресте, об объявленном на меня всесоюзном розыске; о том, наконец, что я на свете одна и равным счётом никого не обездолю, бросившись под первый попавшийся транспорт, если меня не оставят в покое...

Он не прерывал меня, налил стакан воды. И когда я унялась, сказал:

– А сейчас идите, ждите в приёмной. Вас вызовут.

Сидеть пришлось долго. Очень! Узнавали. Проверяли. Наконец пригласили в кабинет.

– Езжайте куда хотите, за исключением неположенных, предусмотренных тридцать девятым пунктом городов. Устраивайтесь, работайте. Больше вас никто беспокоить не станет. Если возникнет что-то конфликтное, вот наш адрес, вот моя фамилия. Пишите. Понадобится приехать – приезжайте, поможем, – вразумляющим тоном говорил высокий чин, на лице которого за всё это время не обозначилось ни одно из известных мне чувств. – Есть ещё вопросы? Просьбы?

– Нет!

– Тогда – всё.

Может, в фантастических глубинах души я и надеялась когда-нибудь услышать в каком-то учреждении власти этот неслыханный *нормальный* текст. Только я слишком хорошо знала, что вербовка – не дурной эпизод, а тотальная тактика властных структур, что её исполнители глухи, полуграмотны и зашорены. Неужели кошмару положен конец? «Мне повезло, – твердила я себе. – Посчастливилось в недрах тьмы встретить умного человека. Повезло! Повезло, и всё тут!» Я поверила этому человеку. Он был внутренне отлажен. Он высвободил душу. Попутно пришло в голову: а что, если это не частный случай? Может, вообще что-то в государстве струнулось с места? Ещё не смея впустить в сознание эту мысль, я медленно брела к дому Александры Фёдоровны и радовалась узаконенной свободе.

Обстоятельства, связанные с побегом из Микуни, теперь можно было не скрывать. Я рассказала Александре Фёдоровне и о побеге, и о визите в главк ГБ. Она задала мне два-три вопроса и больше этой темы не касалась. Напряжение, однако, не спало. Напротив, выросло.

До открытия биржи оставалась неделя. В ожидании трудовой книжки я исправно ходила на телеграф «Москва-9». В окошечке «до востребования» мне выдали телеграмму странного содержания: «Саша приехал всё хорошо перевожу триста телеграфом крепко вас любим целуем Оля». Кто такая Оля? Какой Саша?.. Когда меня озарила безумная догадка, что освобождён Александр Осипович, а Оля – это Ольга Петровна, я без раздумий бросилась на вокзал и тут же купила на присланные деньги билет до Одессы: два дня туда, два обратно, три – там, и я успеваю к открытию биржи.

Увидеть Александра Осиповича на свободе? Это невозможно было вообразить!

Ни Александра Осиповича, ни Ольги Петровны в Одессе я не застала. По словам Елены Петровны, чуть ли не на следующий день после моего отъезда в Москву её сестру вызвали в отделение ГБ и спросили, согласна ли она взять на иждивение мужа, освобождённого по инвалидности, с условием его проживания на сто первом километре от Одессы. Выбрав село

на станции Весёлый Кут, Ольга Петровна сняла для Александра Осиповича комнату. Туда я немедленно и отправилась.

Скромное станционное помещение, железнодорожное депо, элеватор. Дальше село, огороды, сады. Хата, в которой разместился «на постой» мой Учитель, стояла у просёлочной дороги.

– Пришествие Та-ма-а-а-рочки, – встретил меня не мудрец, отсидевший восемнадцать лет, а растерявшийся в непривычной для него деревенской обстановке – ребёнок.

«Сашу не узнать. Ведь он когда-то был красив как бог. Чувствует себя плохо», – сказала в Одессе не видевшая его два десятилетия Елена Петровна. Он сдал и за те два с лишним года, что не видела его я. Выглядел постаревшим, пересиливающим нездоровье. Воодушевление от свободы выражалось в незнакомой неуверенности, в нерешительности внутреннего свечения. Его теснили планы: писать, опубликовать математические труды, философские записки и вообще «творчески состояться»! Он должен был зарабатывать на жизнь, дать наконец отдых Ольге Петровне, которая столько лет поддерживала его и деньгами, и посылками.

Даже если его природный скептический ум и оспаривал тогда эти радужные заблуждения, он простодушно вверял себя их власти, не принимая в расчёт ни реальный возраст, ни изменявшие ему силы. Это был его Час, данный для того, чтобы насытить себя иллюзорным ощущением возвращённой свободы.

Не было надзирателей, не били отбой в кусок рельса у вахты. За дверью хаты хозяйка ругала за что-то детей; в окна врывались волны горячего воздуха позднего украинского лета. И, Господи, какое открывается раздолье для мыслей, когда нам чудится, что исторические беды имеют конец!

Александр Осипович рассказывал об Абезьском лагере особого режима, где он подружился с философом Л. П. Карсавиным, с Н. Н. Пуниным и поэтом Ярославом Смеляковым. Много лет спустя я прочла замечательные воспоминания А. А. Ванеева об этой поре – «Последняя кафедра Карсавина». Там упоминается и А. О. Гавронский. И тогда, в Весёлом Куте, при первой встрече на воле, Александр Осипович говорил о таинстве чисел, о Шопенгауэре, философии которого я не знала. Он останавливался, спрашивал: «Понимаешь?» Я с чистой совестью отвечала: «Да», безбоязненно добавляя что-то своё в развитие темы.

На следующий день, нагруженная продуктами и приобретённой для мужа посудой, в Весёлый Кут приехала Ольга Петровна. Когда-то в зоне Княжпогоста Александр Осипович, вынув из тайника портрет жены, сказал мне: «Познакомься. Это моя жена Олюшка. Мой Зулус». В Одессе я впервые с ней встретилась, и теперь в украинской деревенской хате мы сидели втроём.

Поздно вечером, когда в селе уже спали, Ольга Петровна пошла проводить меня до дома, где я пристроилась на ночлег. Мы долго прохаживались по улицам села и никак не могли расстаться. Она вспоминала:

– Никогда не забуду того страшного собрания на Киевской киностудии, когда один за другим поднимались члены партячейки, те, кого мы считали своими товарищами, и уничтожали Сашу. Партком киностудии обвинял его в том, что картины, которые он создаёт, искажают советскую действительность, чужды пролетариату, не нужны зрителю. Никто не встал на защиту. Ни один. В лучшем случае отмалчивались.

Одновременно это был рассказ о начале их совместной жизни. Она, в ту пору молодая ассистентка Александра Осиповича, представив, как ему одиноко и худо после разгромного собрания, однажды постучалась в номер к «патрону», после чего они уже не расставались.

– Жили мы тогда в гостинице, – продолжала Ольга Петровна. – Рядом в номере – Довженко с Юлией Солнцевой. До этого мы каждый вечер проводили вместе. Спорили, сражались, хохотали, а тут – словно мамай прошёлся по этой дружбе. Казалось, коридоры вымерли и все киношники мимо нашей комнаты проходят на цыпочках.

Публичное поношение, однако, было лишь предисловием. За предательством коллег последовала ссылка на Кольский полуостров, на станцию Медвежья Гора. Оля поехала за мужем. Там родился и умер их сын Петя. Там же Александр Осипович был арестован, осуждён на десять лет, отправлен этапом в северные лагеря, где ему к первым десяти годам срока добавили ещё десять. Только-то и всего: до революции он числился в партии эсеров; ставил фильмы, «чуждые пролетариату». Разве этого не достаточно, чтобы лишить свободы и продержать восемнадцать лет в тюрьмах и лагерях?

В том, о чём рассказывала Ольга Петровна, я узнавала знакомые приёмы, склад судеб и моего поколения. Не таким уж отдалённым оказалось их и наше «историческое время», чтобы не стать общим.

Приняв мужа на своё иждивение под именное поручительство, Ольга Петровна откровенно выказывала сейчас осторожность и страх: «Саше придётся каждый месяц ездить отмечаться в районное отделение милиции. Он теперь имеет статус высланного. По-моему, его друзьям не следует часто сюда приезжать. Это может ему повредить». А мы? Я подумала о Хелле, о множестве других людей, которые будут стремиться увидеть Александра Осиповича. И в первую очередь я сама должна была признать неуместность собственного появления здесь. Я понимала, что ограничения придумывает не эта светлая, самоотверженная женщина, столько лет ожидавшая мужа. Она ни в коем случае не могла теперь лишиться работы. Следовательно, должна была соблюдать режим, подразумевающий надзор и за связями, и за мыслями супругов.

В ту лунную украинскую ночь, когда всё вокруг было исполнено неизъяснимой природной благодатью, уже на свободе пришлось отхлебнуть глоток всё того же горького зелья запретов.

– Вы не осуждаете меня? Вы меня понимаете, Тamarочка? – заметив мою подавленность, спрашивала Ольга Петровна.

Как я могла не понять её? Понимала! Складывая из обломков памяти картину порушенной жизни, Ольга Петровна надеялась обрести в моём лице союзника:

– Давайте говорить друг другу «ты», как сёстры. Скажи мне: «Оля! Ты!»

Всем своим опытом чувств я отозвалась на её искренность и растерянность, на её страхи, на все трудности встречи с мужем после стольких лет разлуки!

На следующий день я уезжала. Радуюсь перспективе театра для меня, горячо поддерживая мою устремлённость к нему, Александр Осипович едва ли не молил:

– Только не уезжай далеко. Изволь устроиться поближе. Ты ведь знаешь, что я, как никто другой, буду тебе полезен.

С каким святым чувством я мчалась сюда и как страшно мне было бы снова потерять Александра Осиповича – или остаться теперь без них обоих!

* * *

– Ну что ж, – сказал брат Бориса, едва я появилась в Москве, – биржа открылась. Завтра пойдём, благословясь. Ты причепурься, и всё такое.

Одно слово «биржа» вызывало во мне дрожь и страх. Подкашивались ноги. Вдруг скажут: «Прочтите что-нибудь». Я испугаюсь, непременно испугаюсь и... не смогу. Одета ужасно. Туфли прохудились. Был бы у меня хоть какой-нибудь лёгкий, длинный шарфик болотного... нет, лучше золотистого цвета...

Не вспомню уже, во что я тогда обрядилась, отправляясь в свой первый поход на московский театральный «базарчик». Считала себя авантюристкой. Желание устроиться на работу в театр ничем не поддерживалось. На трудовую книжку, в которой была запись: «Зачислена в филиал Сыктывкарского драмтеатра в качестве актрисы», я сослаться не могла. Из Микунни её не прислали.

– Значит так, – наставлял Константин. – Подойдут, станут спрашивать, в каком театре работала, отвечай: «В энском». Знаешь, есть такие, закрытые. О них вообще распространяться не принято.

«Господи! Лгать?»

Для проведения биржи Всероссийское театральное общество снимало в аренду сад «Эрмитаж». По не слишком тенистым аллеям расхаживали актёры, режиссёры. Никакого труда не составляло догадаться, кто одни, кто другие. Режиссёров отличало спокойствие, уверенность в себе. Они здесь были покупатели, хозяева. Актёры вели себя по-разному. Те, кого подстёгивала необходимость преподнести себя как можно выгоднее, не ударить лицом в грязь, узнавались по особой напряжённости. Иные держались сверхсамонадеянно. На биржевом плато действительно просматривалось решительно всё: полный ты, худой, высокого роста или небольшого, хорош или непривлекателен, со вкусом одет или без оно; походка, улыбка, реакции... Зрелище – будоражащее, сумбурное и в общем болезненное. Нарочито громкие возгласы то и дело оповещали присутствующих о встречах бывших коллег. Актёры бурно обнимались, слышались комплименты: «Замечательно выглядишь... похорошела... Ещё лучше стала, душенька...» – «Но и ты великолепен. Признавайся, до сих пор хороводишь?» После преувеличенно громких приветствий где-то в уголках сада разговаривали уже значительно тише. Рассказывали, вероятно, о сыгранных ролях, интригах, почему пришлось уйти из театра, уехать из того или другого города. Просили порекомендовать знакомому режиссёру.

Видимая жизнь была ключом, скрытая была наполнена наблюдениями исподволь. Прикидывали: «Подойдёт? Да нет, не совсем то, что надо». По сути, всё сводилось к личным вкусовым оценкам. Счастливчики, у которых всё быстро определялось, подходили к расставленным тут же столам, за которыми подписывались договоры.

– Видишь того человека? – спросил Константин, указывая на мужчину отнюдь не актёрской внешности. – Это король биржи.

– Что значит «король»?

– Со всеми знаком. Знает конъюнктуру рынка. В курсе, кто какому театру нужен, на какое амплуа, на какую зарплату. Идём. Познакомлю.

– Нет-нет! Не надо! Я не хочу знакомиться с «королём», – взмолилась я.

– Идём!

Мне не нравилось решительно всё. Хотелось сбежать и отсюда, и вообще из Москвы. Константин тем временем что-то уже нашёптывал «королю». Тот бросил на меня оценивающий взгляд. Затем оба подошли. «Король» без улыбки, как эдакий добряк-попечитель, прибегнул к нравоучительной интонации:

– Что же вы дичитесь? Смелее надо быть, смелее! Устроим! А как же? Всё будет путём.

– Что ты ему сказал? – спросила я Константина, который нервничал, как я видела, ничуть не меньше меня.

– То, что надо. Не трепыхайся. Смотри, о лагере – ни гугу. Отвечай одно: «В энском театре» – и называй сыгранные роли. Не грех и присочинить там чего. А главное, ликвидируй постную физиономию.

– Я не могу врать, Костенька.

– Проголодаешься, захочешь хлебушка в рот закинуть – всё-о-о смо-о-о жешь! – беззлобно и убеждённо заключил мой возможный деверь. – Итак, кислое лицо меняем на сладкое... Я пошёл. Лады? А ты – бывай. Удачи тебе.

Я с тоской смотрела, как, сбросив с себя неподъёмную ношу моего устройства в театр, Костя не оборачиваясь удалялся с территории биржи. Напоминание о «хлебушке» проняло, поставило всё на место. В этом «сможешь» всё, собственно, и заключалось. А мне это было не по плечу. Я – не могла. Ни лёгкости, ни кокетливости, ни деловитости. Пыталась настроить

себя: «Ну же, равнение на Удачу!» У последней, как известно, есть развилка: или вознесение, или – шлёп в лужу.

На меня оглядывались. Ко мне подходили:

– Актриса? Где работали?

– В одном из энских театров.

Несколько насторожённый, любопытствующий взгляд. Пауза.

– Что играли?

– Джесси в «Русском вопросе», в чеховских пьесах.

– В каких именно?

– В «Трёх сёстрах».

– Кого?

Александр Осипович всегда говорил: «Ах, какая бы из тебя вышла Маша...» И я лгала:

– Машу.

– Покажите вашу трудовую книжку.

– У меня её с собой нет.

– Фотографии в ролях?

– Фотографии? Фотографий не взяла.

– Репертуарный лист?

– Репертуарного листа тоже нет.

– Кто-то из знакомых актёров может порекомендовать?

– Да нет, наверно...

На том диалог и обрывался. Пожимали плечами. Отходили. Потом ещё украдкой оглядывались. И опять наплывало: «Я авантюристка».

– Больше туда не пойду, – объявила я семье Бориса после двух дней пережитого на бирже позора.

– Дело хозяйское, – ответили мне.

«Хозяйское», поистине.

В том, как Костя выговаривал мне позже, было и сочувствие:

– Чего ж ты, матушка, хочешь? Чтоб тебе наливное яблочко на блюдечке поднесли, да ещё и немедленно? Не с первого раза люди устраиваются. Ждать-пождать надо. Терпения набраться надобно.

От меня справедливо требовали подтвердить сведения о себе документами. Не имея на руках ни трудовой книжки, ни рекомендаций, я была беспомощна. Приняла решение: «Схожу ещё пять раз. Затем на театре ставлю крест. Нанимаюсь на любую стройку и сразу уезжаю».

До чего же я обрадовалась, когда, разговаривая на бирже с подошедшим ко мне актёром, узнала, что он находится здесь с точно такими же «векселями».

– Андрей Николаевич Рыбаков, – представился он.

– И сколько вы отсидели?

– Десять. А вы?

– Семь.

Я осторожно пыталась выяснить: «А у вас есть фотографии в ролях?.. А репертуарный лист у вас есть?..» У него были и кое-какие снимки, и трудовая книжка.

– Ну а в разговоре с режиссёрами вы говорите, что сидели? – выпрашивала я, помня, что мне советовали ссылаться на «энский театр».

– Что сидел – не говорю. Расскажу потом, когда им уже некуда будет деться. Вам тоже советую обходить эту тему. А что касается идеи энского театра, так она, знаете ли, совсем неплоха. Если вы не против, я ею тоже воспользуюсь. Все знают, что эти театры – в военных, засекреченных городах. В таких случаях и правда не очень спрашивают, что там да как.

Андрей Николаевич был элегантен, артистичен, с прекрасно поставленным голосом. Его то и дело приглашали на переговоры.

– У меня одно преимущество по сравнению с вами, Тамара Владиславовна, – подбадривал он меня. – Просто на нашего брата спрос значительно больше, чем на женщин. Но нам ли с вами унывать?

Уныние всё-таки одолевало. Ко мне вновь и вновь подходили, следовали те же вопросы, те же ответы, отбивавшие охоту продолжать со мной разговор.

Иногда я встречалась глазами с наблюдавшим за мной «королём». По неучастию и сосредоточенности, с какими он на меня посматривал, я поняла, что этот ушлый человек разгадывает загадку: «Что-то с ней не так. Но что?» У таких, как он, чутьё на идеологическое «не то» было развито отменно. А перед идеологическим неблагополучием всеильные «короли» пасовали так же, как и их «подданные».

Биржа так угнетала меня, что каждый из пяти дней я скидывала с облегчением. И трудно сказать, почему внезапно успокоилась, когда увидела направлявшегося ко мне человека с яркими чёрными глазами и умной улыбкой.

– Пологонкин, Рувим Соломонович. Директор Шадринского театра, – отрекомендовался он. – Не знаете, где Шадринск? Это на Урале. Расскажите о себе. Вы мне интересны. Где работали раньше?

Глаза у него были не только яркие, но и зоркие. Не только зоркие, но и добрые. А я устала бездарно выкручиваться.

– Знаете, я сидела в лагере по пятьдесят восьмой статье. Там меня взяли в театр, в лагерьный театр. Никаких фотографий в ролях или репертуарного листа у меня нет. Знакомых, которые могли бы меня порекомендовать, тоже. Как видите, дела мои плохи.

Любопытный «купец» не ахнул, но после короткой паузы сказал:

– Хорошо. Покажите вашу трудовую книжку. Работали же вы где-то эти два с половиной года после освобождения?

– Работала, конечно. Работала в филиале Сыктывкарского драмтеатра как актриса. Только трудовой книжки у меня, увы, тоже нет.

Отошёл и этот доброжелательный человек.

– Нет, ни с кем не договорилась! – подавленная неудачами, сконфуженно отвечала я актёрам, с которыми успела познакомиться на бирже и которые интересовались моими успехами.

– Давайте держаться вместе, – предложил мне Андрей Николаевич. – Тут ведь и швали всякой в достатке. Маклеры, между прочим, здесь тоже имеются.

– Маклеры – это те, которые за устройство берут деньги?

– Они самые.

«Всё! Точка! Для чего я сюда прихожу? На что надеюсь?»

Андрей Николаевич догнал меня уже у выхода:

– Поздравьте меня. Я устроился. Подписал договор. Город не ах, театр не ахти, третьего пояса, но – решил. В более крупном городе всё равно не пропишут.

– Что за город?

– Кызыл.

Я искренне обрадовалась за него. Поздравила. Сказала, что тоже больше сюда не приду. Уеду. Буду искать другую работу.

– Протестую! Категорически. Я убеждён, поверьте мне, я чувствую: вы очень, очень хорошая актриса. Вы должны быть и будете в театре. Не сдавайтесь! Давайте договоримся следующим образом: ещё три попытки, ещё три дня!

– Ладно. Ещё раз завтра. Будет тот самый пятый раз.

Когда в середине следующего дня я решительно покидала биржу, мне пресёк дорогу юркий, энергичный человек:

– Договорились с кем-то?

– Нет.

– Всё устроим. Дайте поглядеть ваши документы.

Перечень моих «нет» его ничуть, казалось, не смутил:

– Не беда. Уладим. Решительно всё уладим. От вас требуется только одно – произнести: «Хочу, чтобы вы меня устроили».

Поняв, что это маклер, я в замешательстве сказала:

– Нет-нет! Не надо. Не беспокойтесь. У меня нет не только нужных документов, но и денег.

– Ну-у, – откинувшись всем корпусом назад и изобразив на лице укор, не то прошипел, не то прошептал он. – Такая женщина и... деньги?

Кратко. Нагло. Так, что в одно мгновение всё меркнет от мерзости мира. Смятая унижением последних дней, этого я вынести уже не смогла.

В туалете, где подкрашивались и поправляли причёску усталые актрисы, многие – кто с ободряющей, а кто с участливо-кривой улыбкой – похлопывали меня по плечу, уговаривали: «Ну-ну! Что бы ни было, надо держаться!» Ополоснув распухшее от слёз лицо, я должна была пройти через довольно людное место, чтобы выйти из сада «Эрмитаж». И тут меня остановил директор Шадринского театра.

– Что вам сказал этот негодяй? – напористо спросил он. – Что?

Ни в чьём заступничестве я уже не нуждалась. Торопилась уйти отсюда. Прошла мимо него...

– Подождите. Да подождите же! Я беру вас в театр. Идёмте, подпишем договор... Я говорю: подпишем договор, если вы не против.

Я не верила тому, что слышала.

– Но у меня же нет нужных документов...

– Нет – значит нет. Есть чистые глаза. Дайте мне ваш паспорт. Паспорт-то есть?

– Паспорт есть.

– Зарплата на первых порах будет небольшая. Потом повысим. Жилья тоже не обещаю. Пока поживёте в гостинице. Освободится место в общежитии – поселим. Согласны?

– Согласна.

– Открытие сезона первого октября. Быть в Шадринске надо соответственно. Подписывайте здесь... И здесь. Тут распишитесь за подъёмные... Пересчитайте! И всё-таки – что вам сказал тот подонок?

– Ничего.

– Я этого так не оставлю. Вы завтра придёте?

– Ни за что.

Мы попрощались. В сад «Эрмитаж» входил Рыбаков:

– Ну, я же говорил! Я же знал! Какая же вы молодчага! Пойдёмте, отпразднуем победу мороженым!

В память о днях на бирже остались его строчки:

Всё ярче мне день этот помнится!
На бирже, на конском базаре,
Вы зябли, великая скромница,
Ни с кем там не будучи в паре.

Вот так на чужбине встречаются!
А вечером, словно в тумане,
Москва перед нами качается,

Мы бродим одни, марсиане.

На глупую долю не сетуя,
Бездомны на целой планете,
Как вольно мы дышим, беседея
О самом заветном на свете...

– Кто оказался прав? Видишь, что значит вооружиться терпением? – сказали «старшие дети». – Молодец! Поздравляем.

Александра Фёдоровна – потише, потеплее:

– Вот ты и устроилась на работу, Томочка!

Я крепко её обняла:

– Спасибо вам, Александра Фёдоровна. Как я смогу отблагодарить вас за всё?

Иногда казалось, что Судьба двурушничает: законспирированно, тайно дает мне частные уроки азбуки, благодаря которой я могу считывать с её матриц какие-то предвестья. Для достижения желаемого, однако, мне был как бы определён единственный способ: выстрадать это безмерной тратой сердца и уймой физических сил. Финальный день биржи подтверждал, что условия – незыблемы и неотменимы. Ведь моей собственной инициативы или заслуг в устройстве на работу не просматривалось.

И всё-таки невероятно! Исполнилось заветное! Работать не где-нибудь – в театре! Александр Осипович сказал: «Изволь устроиться поближе». Урал? Ничего себе «поближе»! Оттуда труднее будет разыскивать сына. Но работа – есть. Получу какое-то жильё. Обрету право подавать документы в суд, чтобы мне вернули сына. Сомнений в том, что отыщу его, не было.

В моей судьбе существовала ещё одна странная закономерность: любая удача, любое достижение влекли за собой «девятый вал», ударная сила которого норовила свести на нет даже самые скромные победы. И на сей раз вал выкатил из прошлого.

Тот же Центральный телеграф «Москва-9», окошко «до востребования». Выданная на этот раз телеграмма извещала: «Выезжаю Москву прошу встретить Дмитрий» (число, номер поезда и вагона).

«...Почему вдруг? Почему вообще?.. Тем более – сейчас? От взрывов ваших чувств мне больно, Дима. Вы же сказали в Микуни, что больше никогда не придёте. И – не приходили...» Словно пойманная сачком, я не в силах была подняться с места. Продолжала сидеть, разрисовывая полученную телеграмму дурацкими рожицами. Во мне разгоралось почти забытое волнение. История была давняя и не очень понятная.

Зимним днём 1944 года по распоряжению политотдела Севжелдорлага с разных концов лагеря нас, несколько человек заключённых, свезли на Центральную колонну – в лагерный театр. Среди этих нескольких человек был пианист, окончивший Бакинскую консерваторию у профессора Шароева, – Дмитрий Фемистоклевич Караяниди. Знавшие его раньше земляки говорили: «Он не просто пианист, он пианист от Бога». В 1937 году ему досталось то самое беспощадное и непосильное, что выпадало на долю первопроходцев, которых завозили в девственную, нетронутую тайгу Коми АССР. Им приходилось самим прорубать просеки, самим отстраивать для себя зоны и бараки. Дмитрий выжил чудом. И не меньшим чудом надо считать то, что руки пианиста на общих работах остались необмороженными. Всего за три года до его освобождения на него выписали наряд в ТЭК. Первым моим впечатлением было: «Досталось человеку. Старше меня, а растерян не меньше. И как же обаятелен, как красив».

На большинстве колонн, которые мы обслуживали, о пианино и не слыхивали. Дмитрию Фемистоклевичу вручили аккордеон. Он переучился и стал на нём аккомпанировать солистам ТЭКа. Один из послевоенных этапов пополнил коллектив новичками, среди которых была престелная певица Инна Курулянц и артист студии Ю. А. Завадского Николай Теслик. Вчетве-

ром мы организовали так называемый «колхоз». Распределили, что кому носить на дальних переходах. Складывая в один котёл наши сухие пайки, мы в очередь с Инной готовили. Пережили вместе известие о смерти Диминой дочери Стеллы. Пережили ночь, когда в барак вошёл нарядчик, зачитал фамилию Инны в списке на этап в Мариинские лагеря, – и Димину возлюбленную увезли. Дима был рядом, когда заболел мой любимый, Колюшка. Он пришёл на кладбище ночью, когда я Колюшку хоронила.

Не припомню особенно глубоких дружеских излияний между нами. Нет, этот человек с сиянием в глазах был скрытен, замкнут и мало кого подпускал к себе на близкое расстояние.

После освобождения Дима заторопился уехать домой. В Баку узнал, что у его бывшей жены новая семья. Вернулся на Север. Устроился работать в тот же ТЭК, только уже по вольному найму. Прожив бок о бок несколько лет, деля всё, что включал в себя лагерный быт ТЭКа, – разъезды в товарных вагонах, грязь, холод, репетиции и наши выступления, – кем мы с ним в конце концов стали друг другу? Друзьями? Скорее родными людьми. Даже притом, что продолжали быть на «вы».

Когда освободилась я, мы жили в ста километрах друг от друга. Периодически виделись. Дима уволился из ТЭКа, но остался жить и работать в Княжпогосте. Я постоянно приезжала в Княжпогост на могилу к Колюшке. Пока Александр Осипович и Борис находились ещё на колонне Ракпас, Димина комната в общежитии стала «почтовым ящиком» для передачи писем от них ко мне и к ним от меня. И всё между нами оставалось таким же надёжным и таким же спокойным.

Откуда после многолетней, ничем не замутнённой дружбы нахлынуло смущение, охватившее в один прекрасный день нас обоих, не уследили ни он, ни я. Такая постоянная была между ним и мною дистанция – куда она вдруг делась? Неузнаваемо глухим голосом он предложил мне выпить чашку чая. Давнего друга подменил привлекательный мужчина. Но сковывала память о прошлых годах. Мы, два одиноких человека, одновременно пришли в замешательство и «сбежали» друг от друга. Месяца два мы не виделись вообще. Потом он приехал в Микунь устраиваться на работу по совместительству. Случайно встречаясь, мы могли иногда пройтись по дороге, разговаривая о чем-то стороннем. Туманило голову, когда он вскользь бросал: «Вы мне снитесь», «Вам идёт этот цвет платья»... На открытии микуньского Дома культуры я читала поэму «Говорит мать». Дима поджидал меня на сцене у кулис. Так же глухо, как у себя в тот вечер, процедил: «Сколько же в вас огня!» И всё стало ещё опаснее и непонятнее.

Когда меня в Микуни пытались вербовать в ГБ, Дима поддержал меня такими нужными словами: «Не бойтесь, стойте твёрдо на своём! Даже если станут угрожать наганом». И незваным пришёл в тот вечер, когда я одержала над собой верх и преодолела бесчестье. Пришёл в тот миг, когда зуб на зуб не попадал от зяби одиночества, и я взывала: «Эй, жизнь, откликнись, подай знак, помоги!» Жарче всех желаний было безотлагательное желание услышать именно от него не единожды, а многократно повторённое: «Люблю! Люблю!» От произнесённого вслух: «Больше я к вам не приду. Никогда» – смёрзлось что-то едва пробудившееся.

Это сказал не ровесник. Это сказал человек на двенадцать лет старше и умудрённее меня.

После ночи, проведённой за решёткой в ГБ, приняв помощь Бориса, простившись с ним одним, я уехала с Севера навсегда.

* * *

Дмитрий так торопился выйти, что при взгляде с платформы в окно вагона казалось: стремительность опережает его самого.

Неловкость. Сдержанность. Наскок вопросов и переход на непривычное «ты»:

– У кого ты живёшь?

- У матери Бориса – у Александры Фёдоровны...
 - Мы сможем видаться?
 - Посмотрим. Командировка? – спросила я.
 - Нет. Отпуск. В театр сможем пойти?
 - Пожалуй...
 - Куда взять билеты?
 - ...Во МХАТ.
 - На что?
 - На что удастся...
- Он взял билеты на три спектакля кряду. Театр любил. Толк в нём – знал.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.